

Елена Петровна  
БЛАВАТСКАЯ

---



- Кармические видения
  - Заколдованная жизнь
  - Может ли двойник убить?
  - Неразгаданная тайна
  - Сияющий щит
  - Пещера Эхо
  - Из полярного края
  - Ожившая скрипка
  - Молчаливый Брат
  - Легенда о Голубом Лотосе
-

*О, жалобное «Больше нет»!  
О, сладостное «Больше нет»!  
О, чуждое мне «Больше нет»!  
У мхом поросших берегов ручья  
Один внимал я аромату дикой розы;  
В ушах моих немолчный звон стоял,  
Из глаз моих струились слезы.  
Сомненья нет, всё лучшее прошло,  
На сажень вглубь погребено тобой, «No More»!*

*А.Теннисон. «Драгоценность».*



Лагерь полон боевыми колесницами, ржущими лошадьми и толпами длинноволосых воинов...

Королевская палатка, безвкусна в своём варварском великолепии.

Её льняные покровы провисают под тяжестью оружия. В центре — возвышенное сиденье, покрытое шкурами, и на нём восседает рослый, свирепого вида воин. Он рассматривает пленников, которых по очереди подводят к нему и судьбу их решает каприз бессердечного деспота.

Вот перед ним новая пленница. Она обращается к нему со страстной искренностью... Он же внимает ей со скрытой яростью, и глаза на мужественном, но свирепом и жестоком лице наливаются кровью и неистово вращаются. А когда он подаётся вперёд, пристально и с ненавистью вперясь в неё взглядом, весь его облик — спутанные пряди волос, свисающие на сдвинутые брови, коренастый торс с мощными мускулами и две большие руки, опирающиеся на щит, стоящий на правом колене, — подтверждает замечание, едва слышным шёпотом сделанное седовласым воином своему соседу:

— Не много милости получит эта святая пророчица из рук Хлодвига.

Пленница, стоящая между двумя бургундскими воинами лицом к бывшему князю салических франков, а ныне королю всех франков, — старая женщина с серебристо-белыми растрёпанными волосами, спадающими на костлявые плечи. Несмотря на глубокую старость, её высокая фигура стройна, а вдохновенные чёрные глаза смотрят гордо и бесстрашно в жестокое лицо вероломного сына Хильдерика.

— Ах, король, — говорит она громким, звонким голосом, — вот сейчас ты велик и могуч, но дни твои сочтены и править тебе всего лишь три лета. Злым ты родился... Вероломным ты был со своими друзьями и союзниками, не одного из них лишив законной короны. Убийца своих ближайших родственников, ты, добавляющий к ножу и копьё в открытом бою кинжал, яд и предательство, берегись, ты дурно обращаешься со слугой Нерфус!

— Ха, ха, ха!.. Старая карга из преисподней! — заявляет король со злой, угрожающей усмешкой, — Конечно, ты выползла из чрева своей матери-богини. Ты не боишься моего гнева? Это хорошо. Но и мне нечего бояться твоих пустых проклятий... Мне, крещёному христианину!

— Так, так, — отвечает сивилла. — Все знают, что Хлодвиг отрёкся от богов своих отцов, что он потерял веру в предостерегающий голос белого коня Солнца, что в страхе перед аллеманами он склонил колени перед назорейским служителем Ремигиусом в Реймсе. Но стал ли ты в новой вере более праведным? Разве после своего отступничества ты не убил столь же хладнокровно, как и до него, всех своих сподвижников, веривших тебе? Разве не ты дал слово Алариху, королю вестготов, и не ты же убил его исподтишка, вонзив копьё в спину, когда он отважно сражался с врагом?

Это твоя новая вера и новые боги учат тебя, даже теперь, вынашивать в своей чёрной душе гнусные замыслы против Теодориха, нанёсшего тебе поражение?... Берегись, Хлодвиг, берегись! Ибо теперь боги твоих отцов поднялись против тебя! Берегись, говорю тебе, ибо...

— Женщина, — свирепо кричит король, — женщина, прекрати свои безумные речи и отвечай на мой вопрос! Где сокровища Роци, накопленные твоими жрецами Сатаны и спрятанные после того, как они были разогнаны святым Крестом?... Ты одна знаешь. Отвечай, или, клянусь небесами и преисподней, я навсегда втолкну в глотку твой поганый язык!..

Она не обращает внимания на угрозы и продолжает так же спокойно и бесстрашно, будто ничего не слышала:

— ...Боги говорят, Хлодвиг, что ты проклят!.. Хлодвиг, ты будешь вновь рождён среди своих терепешних врагов и будешь мучиться страданиями, которые причиняешь своим жертвам. Вся мощь и слава, что ты отнял у них, будет маячить перед тобой, но ты никогда не достигнешь её!.. Ты будешь...

Прорицательница не успевает договорить.

С ужасным проклятьем, припав, подобно дикому зверю, к своему покрытому шкурой сиденью, прыжком ягуара король обрушивается на неё и одним ударом сбивает с ног. А когда он заносит своё острое смертоносное копьё, «святая» племени почитателей Солнца заставляет воздух зазвенеть последним проклятием:

— Я проклинаю тебя, враг Нерфус! Да будут муки твои десятикратно тяжелее моих! Пусть великий закон воздаст...

Тяжёлое копьё падает и, пронзив горло жертвы, пригвозждает голову к земле. Горячая алая струя вырывается из зияющей раны, покрывая короля и воинов несмываемой кровью...

Время — веха богов и людей в безграничном поле вечности, убийца своих порождений и памяти человечества — время движется бесшумным безостановочным шагом через зоны и века... Среди миллионов других Душ вновь рождается Душа-Эго: для счастья или для горя, кто знает! Пленница в своей новой человеческой форме, она растёт вместе с ней, и вместе они осознают, наконец, своё бытие.

Счастливы годы их цветущей юности, неомраченной нуждой или страданием. Они ничего не ведают ни о прошлом, ни о будущем. Для них всё — лишь счастливое настоящее, ибо Душа-Эго и не подозревает, что жила когда-то в другом человеческом сосуде, она не знает, что родится вновь, и не помышляет о том, что последует за этим.

Её Форма спокойна и довольна. Она ещё не доставляла своей Душе-Эго серьёзных волнений. Она счастлива благодаря ровной мягкой безмятежности своего нрава и атмосфере любви, сопутствующей ей повсюду. Ибо это — благородная Форма и сердце её полно благодушия. Никогда ещё Форма не тревожила Душу-Эго слишком сильным потрясением и никоим иным образом не нарушала спокойной безмятежности своего обитателя.

Два десятилетия проходят незаметно, будто единое путешествие, долгий путь по залитым солнцем дорогам жизни, усаженным вечно цветущими розами без шипов. Редкие печали, постигающие эту пару близнецов — Форму и Душу, кажутся им подобными бледному свету холодной северной луны, чьи лучи погружают всё вокруг освещённых ею предметов в тень ещё более глубокую, нежели тьмнота ночи, ночи безнадежной скорби и отчаяния.

Сын государя, рождённый, дабы в должное время принять бразды правления королевством отца, с колыбели окружённый благоговением и почестями, окружённый всеобщим уважением и уверенный во всеобщей любви, — чего же более может желать Душа-Эго от Формы, в коей пребывает?

И так Душа-Эго продолжает наслаждаться жизнью в своей непреступной башне, безмятежно взирая на панораму бытия, непрестанно меняющуюся перед двумя её окнами — двумя добрыми голубыми глазами любящего и добродетельного человека.

Однажды надменный и неистовый враг стал грозить королевству отца, и дикие инстинкты бойца прошлого просыпаются в Душе-Эго. Она покидает свою страну грёз среди цветов жизни и побуждает своё Эго из плоти обнажить клинок воина, уверяя его, что это делается ради защиты страны.

Побуждая друг друга к действиям, они одолевают противника и покрывают себя славой. Они заставляют надменного врага в крайнем унижении повергнуться во прах у своих ног. За это история венчает их неувядающими лаврами доблести, лаврами успеха. Они делают из поверженного врага подставку для ног и превращают маленькое королевство своих предков в огромную империю. Удовлетворённые, полагая, что не могли бы пока достичь большего, они возвращаются к уединению, в страну грёз милого дома.

В течение следующих трёх пятилетий Душа-Эго сидит на обычном месте, взирая из своих окон на окружающий мир. Над её головой голубое небо, а необозримые горизонты покрыты, казалось бы, неувядаемыми цветами, растущими в лучах здоровья и силы. Всё выглядит прекрасным, как зеленеющий луг весной.



Но в драме бытия недобрый день приходит ко всем. Он ждёт — и в жизни короля, и в жизни нищего. Он оставляет след в биографии каждого смертного, рождённого от женщины, и его нельзя ни отпугнуть, ни упросить, ни умиловить. Здоровье — это росинка, падающая с небес, дабы оживлять цветение на земле лишь в течение утра жизни, её весны и лета... Но она недолговечна и возвращается туда, откуда пришла, — в невидимые сферы.

Как часто под бутоном неземным  
Зародышем незримый цветоед таится!  
А в корешках редчайшего цветка  
Недосягаемый в своей засаде червь трудится...

Песок в часах, отмеряющий сроки человеческой жизни, струится всё быстрее. Червь подточил цветок жизни в самой его сердцевине. Сильное тело однажды оказывается простертым на тернистом ложе боли.

Душа-Эго больше уже не сияет. Она тихо сидит и печально смотрит сквозь то, что стало окном её темницы, на мир, который теперь быстро окутывается для неё саванами страдания. Уж не преддверие ли это приближающейся вечной ночи?

Прекрасны курорты внутреннего моря! Бесконечная неровная гряда омываемых прибоем чёрных скал тянется окружённая золотыми песками и глубокими синими водами морского залива. Они подставляют свои гранитные груди яростным порывам северо-западного ветра, укрывая дома богачей, уютно разместившиеся у их подножий со стороны суши. Полуразрушенные домишки на открытом берегу — это убогие убежища бедняков. Их убогие тела часто сокрушаются стенами, сорванными и смытыми разгневанной волной. Но ведь они только следуют великому закону выживания наиболее приспособленных. К чему их защищать?

Прекрасно утро, когда в золотисто-янтарных тонах встаёт солнце и первые лучи его целуют скалы живописного берега. Радостна песня жаворонка, когда, вылетая из своего тёплого гнёздышка в траве, он пьёт утреннюю росу из глубоких чашечек цветов; когда кончик розового бутона дрожит, обласканный первым лучом, а земля и небо улыбаются, приветствуя друг друга. Печальна одна Душа-Эго, когда взирает на пробуждающуюся природу с высокого ложа напротив широкого окна — «фонаря».

Как спокоен близящийся полдень, когда тень на солнечных часах неуклонно движется к часу отдыха! Теперь палящее солнце начинает плавить облака в прозрачном воздухе, и последние клочки утреннего тумана, задержавшиеся на вершинах дальних холмов, исчезают в его лучах. Вся природа готова к отдыху знойного и ленивого полдня. Племя пернатых умолкает, их яркие крылья понижают, они опускают свои сонные головки, ища убежища от палящего зноя. Утренний жаворонок деловито устраивается в окаймляющих дорожки кустах под соцветиями граната и сладкого средиземноморского лавра. Неутомимый певец стал безгласным.

«Его песнь так же радостно зазвонит завтра, — вздыхает Душа-Эго, прислушиваясь к замирающему жужжанию насекомых на зеленеющем дёрне. — А мой?»

Вот бриз, несущий запахи цветов, едва шевелит томные верхушки пышных растений. Затем взгляд Души-Эго падает на одинокую пальму, выросшую в расселине поросшей мохом скалы. Её некогда прямой цилиндрический ствол изогнут и надломлен ночными порывами северо-западных ветров. А когда она устало протягивает свои поникшие оперённые руки, колеблющиеся из стороны в сторону в голубом прозрачном воздухе, её тело дрожит и грозит переломиться пополам при первом новом порыве.

«И тогда отломленная часть дерева упадёт в море и некогда величественной пальмы уже не будет более», — говорит сама с собой Душа-Эго, печально взирая из своих окон.

Всё возвращается к жизни в холодном старом жилище в час заката. Тени на солнечных часах с каждой минутой сгущаются, и воодушевленная природа в эти прохладные часы близящейся ночи просыпается более деятельной, чем когда-либо. Птицы и насекомые щебечут и жужжат свои последние вечерние гимны вокруг высокой и всё ещё сильной Формы, когда она шествует медленно и устало по усыпанной гравием аллее. И вот её тяжёлый взгляд задумчиво падает на лазурную глубину тихого моря. Залив искрится, подобно усыпанному жемчугом ковру синего бархата, в прощальных танцующих солнечных лучах и улыбается, как беспечный сонный ребенок, уставший от беспокойного метания. А дальше, спокойное и безмятежное в своей вероломной красоте, открытое море широко расстилает гладкое зеркало прохладных вод — солёных и горьких, как человеческие слезы. Оно лежит в своём предательском спокойствии, подобно великолепному спящему чудовищу, охраняющему непостижимую тайну своих тёмных глубин. Поистине это кладбище миллионов, без надгробий, канувших в пучины...

Без могил, без положенья в гроб,

в то время как жалкие останки некогда благородной Формы, бродящей поодаль, когда пробьёт её час и басовые колокола прозвонят по усопшей душе, будут выставлены для помпезного прощания. О её кончине возвестят голоса миллионов труб. Короли, князья и сильные мира сего явятся на её погребение или пришлют своих представителей со скорбными лицами и соболезнующие послания тем, кто остался...

«Хоть одно преимущество перед погребёнными без положения во гроб и безвестно», — с горечью размышляет Душа-Эго.

Так незаметно проходит день за днем, и по мере того как быстрокрылое Время ускоряет свой полёт, а каждый исчезающий час разрушает какую-то нить в ткани жизни, Душа-Эго постепенно изменяется в своих взглядах на вещи и людей. Паря меж двумя вечностями, вдали от места рождения, одинокая в толпе докторов и слуг, Форма с каждым днём увлекается всё ближе к своей Душе-Духу. Иной свет, недостигнутый и недостижимый во дни радости, мягко снисходит на утомлённой узницы. Теперь она видит то, чего никогда не различала прежде...

Как прекрасны, как таинственны весенние ночи на морском берегу, когда ветры умиротворены и стихии на время утихли. Торжественная тишина царит в природе. Лишь серебристый, едва слышный шорох волны, когда она нежно пробегает по влажному песку, целуя раковины и гальку по пути вверх и вниз, доходит до слуха словно тихое размеренное дыхание спящей груди. Каким маленьким, каким незначительным и беспомощным чувствует себя человек в эти покойные часы, когда стоит между двумя гигантскими громадами — усыпанным звёздами сводом над головой и дремлющей землёй под ногами.

Небо и земля погружены в сон, но души их не спят и беседуют, делясь друг с другом неизъяснимыми тайнами. Именно тогда оккультная сторона природы приподнимает для нас свои тёмные покровы и раскрывает секреты, кои мы тщетно пытались бы выпытать у неё в свете дня. Купол небес, столь недостижимый, столь далёкий от земли, приблизился и склонился над нею. Звёздные луга обнимаются со своими более скромными сёстрами — долинами, усыпанными маргаритками, и дремлющими зелёными полями. Небесный свод падает в изнеможении на грудь огромного спокойного моря; а миллионы усеивающих его звёзд заглядывают и купаются в каждом озерке и заводи.

Для израненной горем души эти мерцающие небесные светила кажутся очами ангелов. Они смотрят вниз с невыразимым сочувствием к страданиям человечества. То не ночная роса падает на спящие цветы, но слезы сострадания светил при виде великой человеческой скорби...

Да, ласкова и прекрасна южная ночь. Но —

Когда мы, возлежа на ложе,  
В мерцаньи тающей свечи  
Зрим увядание всего... О, Боже!  
Как нам страшно в ночи...

Черета погребённых дней пополнена ещё одним. Далёкие зелёные холмы и ароматные ветви цветущего граната растворились в густых тенях ночи, и печаль и радость погружены в летаргию сна, дающего отдых душе. Все шумы утихли в королевских садах, ни голоса, ни звука не слышно в этой всевластной тишине.

Быстрокрылые сны слетают со смеющихся звёзд пёстрыми стайками и, опускаясь на землю, рассеиваются среди смертных и бессмертных, среди животных и людей. Они парят над спящими, привлекаемы каждый согласно своему виду и качеству: сны радости и надежды, исцеляющие и невинные видения, страшные и пугающие зрелища, увиденные сомкнутыми глазами, переживаемые душой; одни — дающие счастье и утешение, другие — вызывающие рыдания, вздымающие дремлющую грудь, слезы и душевные муки; все и каждый неосознанно вселяющие в спящего мысли грядущего дня.

Даже во сне Душа-Эго не находит покоя.

Горячо и лихорадочно мечется её тело в безысходной муке. Для неё время счастливых мечтаний — лишь истаявшая тень, давно минувшее воспоминание. За умственными страданиями души стоит преображённый человек. За телесными муками проступает полностью разбуженная ими Душа. Покров иллюзии спал с холодных идолов мира. Тщета и пустота славы и богатства стоят перед её глазами неприукрашенные и часто отвратительные. Думы Души, подобно мрачным теням, падают на рассудок быстро распадающегося тела, преследуя мыслителя ежедневно, еженощно, ежечасно...

Вид собственного храпящего коня больше не доставляет ему удовольствия. Воспоминания об оружии и знамёнах, захваченных у врага, о стёртых с лица земли городах, о рвах, пушках и шатрах, о множестве завоёванных трофеев теперь лишь едва возбуждают его национальную гордость. Подобные мысли больше не трогают его, и честолюбие уже неспособно пробудить в страждущем сердце снисходительного одобрения любого доблестного поступка рыцарства. Иные видения заполняют теперь томительные дни и долгие бессонные ночи...

Что он видит теперь, — это множество штыков, скрежещущих друг о друга в тумане копоты и крови, тысячи изрубленных тел, покрывающих землю, истерзанных и разорванных в клочья смертоносными орудиями, изобретёнными наукой и цивилизацией, благословлёнными на победу слугами его Бога. То, что он теперь видит во сне, — это истекающие кровью раненые и умирающие с утраченными конечностями и спутанными волосами, промокшими и насквозь пропитанными кровью...

Отвратительный сон выделяется из группы проходящих мимо видений и тяжело опускается на его больную грудь. В ночном кошмаре он видит людей, умирающих на поле боя, проклиная тех, кто привёл их к гибели. Любая внезапная острая боль в собственном изнуренном теле приносит ему во сне воспоминания о муках ещё более ужасных, о страданиях, перенесённых из-за него и ради него. Он видит и чувствует агонию миллионов павших, умирающих после долгих часов ужасающих душевных и физических мук, испускающих дух в лесу и в поле, в канавах у обочин, в лужах крови под чёрным от гари небом. Его взгляд вновь приковывают потоки крови, каждая капля в которых — это слеза отчаяния, вопль разрывающегося сердца, скорбь по всей жизни. Он опять слышит дрожащие вздохи одиночества и пронзительные крики, разносящиеся над горами, лесами, долинами. Он видит старых матерей, потерявших свет своей души; семьи, лишившиеся кормильца. Он видит овдовевших молодых жён, выброшенных в огромный холодный мир, и нищих сирот, тысячами попрошайничающих на улицах. Он видит, как юные дочери самых отважных его воинов меняют траурные покровы на крикливую мишуру проституции, и Душа-Эго содрогается в спящей Форме... Её сердце разрывается от стонов голодающих, глаза слепнут в дыму горящих деревень, разрушенных домов, больших и малых городов в курящихся руинах...

И в этом кошмарном сне он вспоминает тот миг помешательства в своей воинской жизни, когда стоя на горе мёртвых и умирающих, правой рукой размахивая обнажённым мечом, по самую рукоять обогрётным дымящейся кровью, а левой — знаменем, вырванным из рук солдата, умирающего у его ног, он зычным голосом возносил хвалу к трону Всемогущего, благодаря его за только что одержанную победу!..

Он вздрагивает во сне и просыпается от ужаса. Крупная дрожь сотрясает его тело как осиновый лист, и, откинувшись на подушки, утомлённый воспоминаниями, он слышит голос — голос Души-Эго, звучащий в нём:

«Слава и победа — лишь тщеславные слова... Благодарения и молитвы за сломанные жизни — гнусная ложь и богохульство!..»

Что они дали тебе и твоему отечеству, эти кровавые победы!.. — шепчет его Душа. — Народ, одетый в железные доспехи, — отвечает она же. — Сорок миллионов умерших теперь для всякого духовного устремления и жизни Души. Народ, отныне глухой к мирному голосу долга честных граждан, питающий отвращение к мирной жизни, слепой к искусствам и литературе, безразличный ко всему, кроме барыша и честолубия. И каково же теперь твоё будущее королевство? Легион кукол-солдатиков взятых по отдельности и огромный дикий зверь в своей совокупности. Зверь, что подобен вот этому морю, мрачно дремлет лишь для того, чтобы с ещё большим неистовством обрушиться на первого же врага, который будет ему указан. Указан — но кем? Это — как если бы бессердечный, гордый демон, присвоивший неподобающее влияние, воплощенная Гордыня и Сила, сжал железной рукой сознание всей страны. Какими злыми чарами отбросил он людей к тем первобытным дням нации, когда их предки, жёлтоволосяные свебы и вероломные франки, бродили повсюду в воинственном запале, в жажде убивать, уничтожать, покорять. Какими адскими силами было это совершено? Однако превращение произошло, и это столь же неоспоримо, как и тот факт, что лишь Дьявол радуется и гордится результатом этого превращения. Весь мир замер в напряжённом ожидании. Не жена или мать наиболее часто предстаёт тебе во снах, а чёрная и злоедающая грозная туча, покрывающая всю Европу. Она приближается... Подступает всё ближе и ближе... О, горе и ужас! Я вновь прозреваю страдание для этой земли, свидетелем которого мне уже приходилось быть. Я вижу

роковую печать на челе цвета европейской молодежи. Но, если я буду жить и обладать властью, никогда, о никогда моя страна не будет участвовать в этом снова! Нет, нет, я не увижу

Ненасытную смерть,  
пресытившуюся поглощаемыми жизнями...  
Я не услышу  
...несчастных матерей пронзительного крика,  
Когда из страшных, жутких ран людских  
Жизнь истекает, и быстрее крови!.."

Сильнее и сильнее поднимается в Душе-Эго чувство жгучей ненависти к страшной бойне, называемой войной; глубже и глубже внушает она свои мысли той Форме, что держит её в плену. Временами в больной груди просыпается надежда и скрашивает долгие часы одиночества и размышления; подобно утреннему лучу, рассеивающему чёрные тени мрачного уныния, она освещает долгие часы одинокого раздумья. И подобно тому, как радуга не всегда рассеивает грозные тучи, но часто являет лишь результат преломления лучей заходящего солнца проплывающим облаком, так и за мгновениями призрачной надежды обычно следуют часы ещё более глубокого отчаяния. Зачем, о зачем, насмехающаяся Немезида, ты так очистила и просветила среди всех монархов этой земли того, кого сама сделала беспомощным, бессловесным и бессильным? Зачем ты зажгла пламя святой братской любви к человеку в груди того, чьё сердце уже чувствует приближение ледяной руки смерти и разрушения, кого неуклонно оставляют силы, и сама жизнь которого тает подобно пене на гребне набегающей волны?

И вот уже рука Судьбы занесена над ложем страдания. Пробил час исполнения закона Природы. Более молодой отныне будет монархом, ибо старого короля уже нет. Но безгласный и беспомощный, он всё же является господином, самодержавным властителем миллионов. Жестокая Судьба воздвигла ему трон над открытой могилой и зовёт его к славе и могуществу. Истерзанный страданиями, он вдруг обнаруживает себя коронованным. Опустошенная Форма оказывается вырванной из своего теплого гнезда среди пальмовых рощ и роз; её несёт вихрем с благоуханного юга к студёному северу, где воды застывают в ледяные леса и «волны на волнах вырастают в твёрдые горы»; куда она теперь спешит править и — спешит умирать.



Вперёд, вперёд спешит чёрное, извергающее огонь чудовище, изобретённое человеком, дабы отчасти одолеть Пространство и Время. Вперед, с каждой минутой всё дальше от целительного, благоуханного юга летит поезд. Подобно огнедышащему дракону, пожирает он расстояние, оставляя за собой шлейф дыма, искр и зловония. И пока его длинное, гибкое тело, изгибающееся и шипящее, подобно огромной тёмной рептилии, плавно скользит, пересекая горы и долины, лес и туннель, равнину, его покачивающее монотонное движение убаюкивает измученного путешественника, его изношенную, истерзанную душевным страданием Форму, погружая её в сон...

В движущемся дворце воздух тёпл и ароматен. Роскошный вагон полон экзотических растений, и из огромного куста благоухающих цветов возникает вместе с их ароматом сказочная Королева Грёз, сопровождаемая группой счастливых эльфов. В плавно скользящем поезде дриады смеются в своих жилищах из листьев и пускают плыть по ветру сказочные видения и сны зелёных уединённых уголков. Стук колес постепенно превращается в рёв отдалённого водопада, чтобы затем стихнуть до серебристых трелей хрустального ручья. Душа-Эго совершает свой полёт в Страну Грёз...

Она странствует сквозь зоны времён, живёт, чувствует и дышит в самых противоположных людских формах. Сейчас она — великан, ётун, спешащий в Муспелльхейм, где правит Суртур со своим огненным мечом.

Она бесстрашно противостоит сонму чудовищ и обращает их в бегство одним взмахом могучей длани. Потом она видит себя в Северном Мире Туманов. В образе отважного лучника она вступает в Хельхейм, Царство Мёртвых, где Тёмный Эльф раскрывает перед ней череду её жизней и их таинственную взаимосвязь. «Почему человек страдает?» — вопрошает Душа-Эго. — «Потому что он должен стать единым», — следует насмешливый ответ.

Тотчас Душа-Эго предстаёт перед святой богиней, Сагой, которая поёт ей о доблестных делах германских героев, об их достоинствах и пороках. Она показывает Душе могучих воинов, павших от руки множества её прежних Форм как на поле брани, так и под священной сенью дома. Она видит себя в роли девушек и женщин, юношей, мужей и детей... Она чувствует себя многократно умирающей в этих Формах. Она умирает как Дух героя, и сострадающие Валькирии ведут её с кровавого поля битвы назад в Обитель Блаженства под священную сень Валгаллы. Она выпускает последний вздох в другой Форме и оказывается в холодной, безнадежной сфере угрызений совести. Будучи ребёнком, она смежает невинные очи в последнем сне, и сразу же увлекается прекрасными Светлыми Эльфами в другое тело — суждённый источник Боли и Страдания. Всякий раз туманы смерти рассеиваются и спадают с глаз Души-Эго, и лишь тогда она может пересечь Чёрную Бездну, отделяющую Царство Живых от Царства Мёртвых. Таким образом, «Смерть» становится для неё лишь ничего не значащим словом, пустым звуком. Всякий раз верования Смертного обретают объективную жизнь и форму для Бессмертного, лишь только он переходит Мост. Впоследствии они начинают бледнеть и исчезают...

— Каково моё Прошлое? — обращается Душа-Эго к Урд — старшей из сестёр норн. — Почему я страдаю?

Длинный пергамент разворачивается в руке богини и открывает длинный список смертных существ, в каждом из которых Душа-Эго узнаёт одну из своих обителей. Дойдя до предпоследнего, она видит обagrённую кровью руку, без конца творящую жестокости и вероломства, и содрогается... Безвинные жертвы являются вокруг неё и вызывают к Орлогу об отмщении.

— Каково моё истинное Настоящее? — вопрошает встревоженная Душа вторую сестру, Верданди.

— На тебе приговор Орлога, — слышит она в ответ. — Но Орлог не произносит их столь слепо, как глупые смертные.

— Каково моё будущее? — в отчаянии взывает Душа-Эго ко Скульд, третьей из норн. — Будет ли оно всегда в слезах и лишено Надежды?...

Нет ответа. Но спящий чувствует, что несётся в пространстве, и внезапно картина меняется. Душа-Эго видит себя на давно знакомом месте, в королевской летней резиденции, и скамью напротив сломанной пальмы. Перед ней раскинулась, как и прежде, безбрежная голубая водная гладь, отражающая скалы и утёсы, там же и одинокая пальма, обречённая на скорое исчезновение. Мягкий ласковый голос неустанного прибоя легких волн становится человеческой речью и напоминает Душе-Эго о клятвах, неединожды произнесённых на этом месте. И спящий с воодушевлением повторяет слова, уже провозглашавшиеся прежде:

«Никогда, о никогда впредь не принесу я ни единого сына моей родины в жертву пустому тщеславию и честолюбию! Наш мир столь исполнен неизбежным страданием, столь беден радостью и блаженством, неужели я прибавлю к этой чаше горечи бездонный океан горя и крови, называемый Войной? Прочь эту мысль!.. О, больше никогда...»

Странное зрелище и перемена... Сломанная пальма, стоящая перед мысленным взором Души-Эго, вдруг поднимает свой упавший ствол и становится стройной и зелёной, как и прежде. Ещё большее блаженство: Душа-Эго обнаруживает самое себя такой же сильной и здоровой, каким князь был всегда. Громким голосом поёт он на все четыре стороны света ликующую песнь. Он чувствует в себе волну радости и блаженства, и будто знает, отчего счастлив.

Внезапно он переносится в нечто похожее на сказочно-прекрасный Зал, освещённый самыми яркими светильниками и возведённый из материалов, подобных которым прежде он никогда не встречал. Он видит наследников и потомков всех монархов земного шара, собравшихся в этом Зале одной счастливой семьёй. Они уже не носят знаков королевского достоинства, но он словно знает, что правящие князья, властвуют в силу своих собственных качеств, — сердечного великодушия, благородства характера, наивысшей наблюдательности, мудрости, любви к Истине и Справедливости, — что делает их достойными наследниками престолов, Королями и Королевами. Короны, по воле и милости Господа, отброшены, и теперь они правят «милостью божественного человеколюбия», единодушно избранные в силу общепризнанности своих способностей к правлению и почтительной любви своих добровольных подданных.

Всё вокруг кажется удивительно изменившимся. Честолюбия, всепоглощающей жадности и ненависти, неверно называемых патриотизмом, — больше нет. Жестокий эгоизм уступил место истинному альтруизму, а холодное безразличие к нуждам миллионов больше не находит одобрения в глазах немногих избранных. Ненужная роскошь, притворство и претенциозность — общественные или религиозные — всё исчезло. Войны больше невозможны, ибо армии упразднены. Солдаты обратились в усердных, трудолюбивых землепашцев, и весь земной шар творит свою песнь в восторженной радости. Королевства и страны живут как братья. Наконец пришёл великий, славный час! То, на что он едва мог надеяться, о чём еле отваживался помыслить в тишине долгих мучительных ночей, теперь осуществилось. Великое проклятие снято, и мир стоит прощённый и спасённый в своём возрождении!..

Трепещущий от восторженных чувств, с сердцем, переполненным любовью и человеколюбием, он встаёт, чтобы произнести пламенную речь, которая должна стать исторической, и вдруг обнаруживает, что тело его исчезло или, точнее, заменено другим. Да, это уже не та высокая, благородная Форма, что он знал, но тело кого-то другого, о ком он ещё ничего не ведал. Что-то тёмное встаёт между ним и великим ослепительным светом, и на волнах эфира он видит тень огромных часов. На их зловещем циферблате он читает:

«Новая эра: 970 995 лет спустя мгновенного уничтожения пневмо-дино-врилом последних 2 000 000 солдат на поле брани в западном полушарии Земли. 971 000 солнечных лет после затопления европейского континента и островов. Таков приговор Орлога и ответ Скульд...»

Он делает напряжённое усилие и — вновь становится самим собой. Побуждаемый Душой-Эго помнить и поступать соответственно, он воздевает руки к Небесам и перед ликом всей Природы клянётся хранить мир до конца своих дней — по крайней мере, в своей стране.

Отдаленный рокот барабанов и протяжные крики, которые он слышал во сне, — это восторженные благодарения за только что данный обет. Резкий удар, грохот — и когда открываются глаза, Душа-Эго изумлённо взирает в них. Тяжёлый взгляд встречает почтительное и серьёзное лицо врача, предлагающего обычную дозу лекарства. Поезд останавливается. Он встаёт со своего ложа ещё более слабым и усталым, чем когда-либо и видит вокруг бесконечные ряды войск, вооружённых новым и ещё более смертоносным оружием, — готовые ринуться в бой.

Это было в сырую, тёмную ночь, в сентябре 1884 года. Холодный туман спускался на улицы Эльберфельда и заволакивал будто похоронным флёром и всегда-то скучный, а теперь совсем уж безжизненный, глубоко уснувший фабричный городок. Большая часть его жителей, то есть весь рабочий люд — давно уже разошёлся по домам; и давно уж, вытягивая усталые члены под немецкими пуховиками и уткнув наболевшие от машинного стука головы в немецкие перины, наслаждался непробудным сном.

Всё было тихо и в большом уснувшем доме, где я тогда находилась.

Как и все прочие, я лежала в постели; но постель моя была для меня не ложем отдыха, а одром страданий, к которому болезнь приковала меня уже несколько дней.

Так всё было тихо кругом меня в доме, что, по выражению Лонгфелло, «тишина становилась слышной». Я совершенно ясно различала, как переливалась кровь в моём наболевшем теле, производя тот монотонный и столь знакомый всякому, кто когда-нибудь прислушивался к полной тишине, звон в ушах. Я сосредоточенно следила за этими постепенно нарастающими звуками, пока из шума, словно далёкого водопада, они не перешли в рёв могучего горного потока, сердито бурлящие воды стремнины... Но вот вдруг, быстро изменив характер, шум и рёв словно слились и перепутались, перемешались и, наконец, были поглощены другим, более отрадным и желанным мною звуком. То был тихий, еле слышный шёпот голоса, давно ставшего мне знакомым благодаря дневным и ночным долголетним с ним беседам. Да, шёпот знакомого и всегда дорогого голоса; теперь же, как и во все такие минуты нравственных ли, физических ли страданий, — вдвойне дорогого, потому что он всегда приносил мне с собою чувство упования и утешение, облегчение, если не полное выздоровление... Так было и на этот раз:

— Терпение!.. — шептал этот ободряющий, задушевный голос. — Рассказ о некой странной, погибшей жизни не может не сократить часов бессонницы и страданий. Отвлекись от своих страданий, найди пищу своему вниманию. Смотри... вот прямо там, перед собою!..

«Прямо там, перед собою» — означало в этом случае большие, из цельных зеркальных стекол три окна пустого дома, стоящего на другой стороне улицы. Его окна находились по прямой линии против моих окон. Когда я взглянула по указанному мне направлению, то действительно увидела то, что заставило меня на время позабыть даже жестокие боли.

Словно туман, странной формы облако ползло по зеркальным окнам пустой квартиры, увеличивалось и постепенно заволакивало всю стену. Густое, тяжёлое, змееобразное, белёсое облако это напомнило мне, почему-то, своей причудливой формой тень гигантского развивающегося кольца боа-констриктора. Мало-помалу эта тень исчезла, оставив за собою одно сияние, местами серебристо-мягкое, бархатистое, словно отсвет молодого месяца на тёмных водах чистого пруда. Затем оно задрожало, заколебалось, и зеркальные стёкла вдруг заискрились, будто отражая тысячи преломляющихся лунных лучей, целое тропическое звёздное небо, — сперва с наружной стороны окон, а затем и внутри пустого жилья...

А тишина в доме и вокруг меня становилась с каждой минутой всё слышнее и явственнее, и шум далёкого водопада громче и громче, когда вдруг сияние внутри запертых окон стало снова густеть и то же туманное облако удлиняться и, пронизывая стёкла, ползти тем же змееобразным движением через улицу и над нею, медленно созидая и перекидывая волшебный мост от

очарованных окон пустого дома до моего балкона — более, до самой моей кровати! В то время, когда я напряженно следила за этим странным явлением, и сами окна, и пустая за ними комната внезапно исчезли. На их месте появилась другая, комната в здании, которое было в моём сознании швейцарским *châlet* и ничем иным. Старые, из потемневшего от времени дуба стены рабочего кабинета были покрыты от потолка до полу разными полками, заваленными древними рукописями и фолиантами. Такой же большой старомодный письменный стол стоял посреди комнаты. За ним, перед целым ворохом рукописей и письменных принадлежностей, с гусиным пером в руках сидел бледный, истощённый на вид старик; угрюмая, измождённая, скелетообразная фигура, с лицом таким исхудалым, страдальческим и жёлтым, что свет от единственной на столе рабочей лампы, падая на его голову, образовывал два ярких пятна на выдающихся скулах этого изнурённого, словно выточенного из старой слоновой кости, лица.

В то время как с трудом приподымаясь на подушках, я всматривалась через улицу, стараясь лучше взглянуть через такое расстояние в лицо старика, видение — всё целиком, как было, *châlet* и рабочий кабинет, письменный стол, бюро, книги и сам старик — всё это вдруг заколыхалось и задвигалось... Вот оно подвигается ко мне... ближе, всё ближе; вот, неслышно скользя по призрачному мосту через улицу, видение всё приближается; вот оно уже достигло моего балкона и, не останавливаясь ни одной секунды, оно проходит — словно просачивается — сквозь стену и запертые окна. Наконец, выплыв на середину моей спальни, оно останавливается в двух шагах от моей кровати...

— Внимай его думам, прислушайся к голосу его пера... слушай, что оно станет писать, — звучит где-то далеко тот же отрадный голос. — Его история поучительна, и связанный с нею интерес способен не только сократить длину часов бессонницы, но даже и заставить забыть сами страдания... Сделай опыт и усилие, и я помогу!..

Я повиновалась и сосредоточила всё своё внимание на этой одинокой прилежно занятой фигуре, которую я видела так близко от себя, но которая и не подозревала моего соседства. В первые минуты скрип гусиного пера в руках видения не возбуждал в моём уме другого представления, кроме тихого шёпота с прищёлкиванием, каких-то острых царапающих звуков необъяснимого характера. Но мало-помалу ухо моё стало уловлять неясные слова в звуках как бы слабого, тонкого, дребезжащего голоса; и мне сперва почему-то показалось, что они исходили из уст согбенной за письменным столом фигуры: старик читал что-то вполголоса, а не писал свой рассказ. Но я очень скоро убедилась в противном. Уловив минуту, когда он повернул на мгновение голову в мою сторону, я разом убедилась, что его нервно сжатые тонкие губы были неподвижны, а голос был слишком плаксивым и резким, чтобы быть его голосом. В то же время я увидела, как после каждого написанного его слабою, дрожащей рукою слова внезапно вспыхивала из-под его гусиного пера, словно острый свет, искра, превращающаяся так же внезапно в звук, в действительности ли, или же только в моём внутреннем сознании — это всё равно: дело в том, что это был действительно тоненький голосок гусиного пера, раздававшийся у моих ушей, хотя как само перо, так и человек, пишущий им, были, вероятно, в то время за сотни миль от Германии. Такие вещи случались и будут ещё часто случаться, особенно в ночные часы, под «сенью звёзд», когда, как говорит Байрон:

... Язык миров иных, мы изучаем.

Во всяком случае, много дней спустя, я помнила каждое признённое в ту ночь «пером» слово. В этом умственном процессе, впрочем, не заключалось очень большого подвига, так как в нём участвовала не память, а просто зрение. Это случилось не в первый раз. Едва я села с намерением записать рассказ пера, как нашла его, по обыкновению, уже отпечатанным

неизгладимыми чертами перед моим внутренним зрением, на скрижалях астрального света...

Мне оставалось, как и всегда в подобных случаях, — только списывать рассказ, передавая его слово в слово...

Я не успела узнать имени моего ночного видения — героя рассказа. Читателям, почему-либо предпочитающим видеть в этом рассказе обыкновенным образом сочинённое событие, а быть может, просто и сон, — перипетии поведанной гусиным пером драмы окажутся от этого не менее интересными.

Вот она, как была тогда записана, а теперь переписана мною, буквально.

# I

## Рассказ незнакомца

... Место моего рождения — небольшая горная деревушка. Горсть швейцарских хижин, далеко прячущихся в облитой солнцем котловине, между двумя сползающими ледниками и горою, покрытою вечным снегом. Туда, ровно тридцать семь лет тому назад, я вернулся разбитым нравственно и физически калекой — чтобы там умереть.

Но чистый укрепляющий воздух родины решил иначе: он оживотворил меня, и я доселе жив. К чему? Зачем?... Кто может знать! Быть может, я был обречён на жизнь, чтобы свидетельствовать о том, что скрывалось доселе мною в глубокой тайне, как очевидец и герой драмы, столь полной ужаса и страшных событий; рассказывать о них всё равно что переживать их снова... Но я не силах скрывать эту тайну долее! Или это он толкает... меня к этой исповеди?... Он... он!.. Так, да послужит этот рассказ наказанием моей гордости, уроком идущим по моим стопам...

Главная причина, почему я так долго скрывал случившееся, — это полученное мною в известном направлении и с самого детства воспитание. Благодаря ему я рано приобрёл основанные на одной гордости предубеждения; и когда последующие события, уличив в фальши, опрокинули мои излюбленные аксиомы, я всё-таки не смирился, но восстал ещё хуже против очевидности. Усматривая в этой непрерывной эволюции созданных причин, зарождающих прямые последствия от одной первоначальной главной причины, от коей и произошло всё последующее, — я связываю эту первопричинность со слабой и кроткой личностью некоего аскета японца, и говорю: он — перст, направивший первоначальное событие; а все последствия только доставляют мне одно лишнее и непроверяемое доказательство существования того, что я с радостью признал бы — о, когда бы это только ещё было возможным! — за бессмысленную химеру, за создание моей личной фантазии, за горячее видение, за бред расстроенного, обезумевшего мозга. О, когда бы!.. Потому что именно этот образец всех человеческих добродетелей, этот старец, наполнивший горечью и испортивший мне всю жизнь, это именно он первопричина всего зла, создатель преследующего меня демона!.. Насильно столкнув меня с однообразной, но зато безопасной тропы обыденной жизни, он был первым, кто навязал мне против воли убеждение и заставил уверовать в загробную, если не в вечную жизнь, прибавив, таким образом, ещё одну лишнюю пытку ко всем омерзительным ужасам земной жизни!..

Дабы дать читателю более ясное представление о моём положении, я должен прервать на время свои воспоминания о нём, сказав несколько слов о самом себе.

Как уже сказано, родившись в Швейцарии у родителей французов, сосредоточивших всемирную премудрость в литературной триаде, состоявшей из Вольтера, Ж. Ж. Руссо и де Гольбаха, и получив воспитание в одном из германских университетов, я вырос ярким материалистом и убеждённым атеистом. Я был совершенно не способен представить себе даже в воображении какие-то сверхъестественные существа, — не говоря уже о каком-то высшем существе, — властвующие над миром или даже вне видимой природы и отличные от неё. Вследствие такого умозрения я и взирал на всё то, что не могло быть подведённым под строгий анализ физических чувств, как на одну химеру. Душа — рассуждал я — даже допуская таковую в человеке, должна быть вещественной. Определение слова *incorporeal*, — эпитет, даваемый им его Богу, — означает вещество, только немногим утончённое физических тел, и о котором мы во всяком случае не способны создать себе ясного представления. Так как же может то, о чём наши чувства не способны доставить нам ясного понятия, как может оно сделаться вдруг видимым или даже просто произвести какое-либо осязательное явление?



Естественным следствием подобных умозрений являлось дикое презрение к легендам в то время только что зарождающегося в Европе спиритизма, равным которому было разве только всегда овладевающее мною чувство злобной иронии при первом слове назидания от изредка встречаемых мною патеров. Это последнее чувство не оставляло меня во всю жизнь и только окрепло с годами.

В восьмом отделе своих «Мыслей» Паскаль сознаётся в полной неудовлетворительности доказательств касательно существования Бога. Я же в продолжение целой моей жизни исповедовал полную уверенность в небытии такого экстра-космического существа, повторяя вместе с этим великим мыслителем памятные слова, в которых он нам говорит, что:

«Я искал удостоверения в том, не оставлял ли этот Бог, о котором говорит весь мир, хотя каких-нибудь за собою следов. Я ищу всюду, и всюду нахожу один мрак. Природа не даёт мне ничего, что не сделалось бы для меня вопросом сомнения и беспокойства».

Не находил и я, до сего дня, ничего такого, что бы могло заставить меня изменить это воззрение. Я никогда не верил и никогда не поверю в Верховное Существо. Относительно же явлений, вера в которые, появившись с Востока, распространилась и проповедуется теперь по всему земному шару, и того, что есть такие на свете люди, которые развили в себе психические способности до такой степени, что равняются древним богам по своей силе, — над теми, как и над другими, я давно перестал даже смеяться. Вся моя жизнь, разбитая, раздавленная, приниженная, является громким протестом против такого дальнейшего отрицания!

Вследствие несчастного по смерти моих родителей процесса я потерял большую часть моего состояния и тогда же решился — скорее ради тех, кто мне был дорог, чем для самого себя — составить себе другое. Моя старшая и единственная сестра, которую я обожал, была замужем за бедным человеком. Для её детей я решился вступить в товарищество с богатой фирмой в Гамбурге, и отправился в Японию в качестве агента.

В продолжение нескольких лет мои дела шли очень успешно. Я пользовался доверием многих влиятельных японцев, благодаря покровительству которых получил возможность посещать и делать обороты и дела во многих местностях, совершенно недоступных в то время для европейцев. Равнодушный ко всем религиям — я заинтересовался буддизмом, единственной, по-моему, системой, достойной называться философической. Поэтому в свободное от занятий время я посещал самые замечательные в Японии храмы и видел во всех деталях самые важные из девяноста шести буддистских монастырей в Киото. Так, я изучал по очереди храмы: Дой-Бутсу с его гигантским колоколом, Тэо-Нене, Енарино-Яссеру, Кие-Мизу, Хигадзи-Хонг-Вонси и много других знаменитых капищ.

Во все эти протекшие в Японии годы я не переставал относиться скептически ко всему вне чисто материального мира. Я насмехался над претензиями японских бонз и аскетов, как и над уверениями наших католиков и европейских спиритов, я не мог верить даже в существование, не только в приобретение таких сил или способностей, о которых ничего ещё не было известно нашим учёным, и поэтому они не могли быть ими изучены; вследствие этого я и поднимал их на смех. Суеверные и черножелчные буддисты, учащие нас избегать радостей мира сего, смирять страсти и добиваться полного бесчувствия к страданиям из-за заочной надежды приобрести к концу жизни химерические дары, казались мне невыразимо смешными.

У подножия золотой Квон-Он я познакомился с почтенным и учёным бонзой, неким Тамурой Хидейхери, сделавшимся после того моим лучшим и самым доверенным другом.

Но мой благородный друг был столь же кротким и всепрощающим, как и учёным, полным

мудрости. Он никогда не сердился за мои насмешки, ни разу не ответил на мои нетерпеливые сарказмы. Он только просил меня ждать, когда придёт моё время, говоря, что только тогда я получу право слова.

Точно так же он никогда не мог всерьёз поверить в искренность моего отрицания реальности существования Бога или богов. Полное значение терминов «атеист» и «скептицизм» оставались за пределами понимания этого необычайно умного и наблюдательного во всём остальном человека. Как некоторые почтенные христиане, он не был способен понять, что разумный человек может предпочесть мудрые заключения философии и современной науки смехотворной вере в невидимый мир, наполненный богами, духами, джиннами и демонами. «Человек — существо духовное, — настаивал он, — которое возвращается на землю более чем один раз, и между этими возвращениями его либо награждают, либо наказывают». Предположение о том, что человек — лишь куча организованной, сконструированной пыли или праха, было за пределами его понимания. Как и Иеремия Колье, он отказывался признать, что он сам не более чем «ходячая машина, говорящая голова, в которой нет души», чьи «мысли подчиняются законам движения». Он говорил: «Если мои действия предписаны мне заранее, как вы утверждаете, у меня не может быть свободы или свободной воли, способной изменить направление своего действия, так же как и у воды, протекающей в той реке. Если бы это было так, славное учение кармы, учение о вознаграждении добродетели и воздаянии за грехи действительно было бы глупостью».

Таким образом, вся гиперметафизическая онтология моего друга основывалась на шаткой надстройке метемпсихоза, на воображаемых справедливых законах воздаяния за грехи и других столь же бессмысленных мечтаниях.

— Мы не можем, — парадоксально заявил он однажды, — надеяться на жизнь после смерти и наслаждение полнотой сознания, если не построим для этого прочный и надёжный фундамент духовности до нашей смерти... Нет, не смейтесь, друг мой, ни во что не верящий, — умолял он меня, — лучше подумайте, поразмыслите над этим. Тот, кто никогда не учился жить в Духе в его сознательной жизни, полной ответственности, вряд ли может надеяться на то, что ему удастся насладиться жизнью после смерти, когда он, лишённый тела, останется целиком в состоянии Духа.

— Что вы имеете в виду под словами «жизнь в Духе»? — поинтересовался я.

— Это жизнь в духовной плоскости, то, что буддисты называют Тушита Девалока (Рай). Человек может создать себе счастливую жизнь между двух смертей постепенным переходом к духовной плоскости и её возможностям, проявляющимся в его земной жизни только в его органическом теле и, как вы его называете, в животном мозгу.

— Какая бессмыслица! И как же человек может добиться этого?

— Созерцание и сильное желание соединиться со святыми божествами помогут человеку достичь этого.

— А если человек откажется от такого умственного занятия, под которым вы, по-моему, предполагаете созерцание кончика своего носа, что с ним будет после смерти его тела? — насмешливо спросил я его.

— С ним поступят в соответствии с господствующим состоянием его сознания, в котором существует множество градаций. В лучшем случае за смертью последует немедленное перевоплощение и рождение заново, в худшем — его ожидает состояние авичи, или душевных мук ада. Однако человеку не обязательно становиться аскетом для того, чтобы слиться с духовной жизнью, которая продолжится после смерти. От него требуется только одно: постараться приблизиться к Духу.

— Каким образом? А если человек не верит в это? — снова спросил я его.

— Даже если не верит! Можно не верить, но сохранить в душе место для сомнений, сколь бы мало ни было это место. И он может попытаться однажды, хотя бы на одно мгновение, приоткрыть дверь внутреннего храма, и этого будет достаточно.

— Мой почтенный господин, ваши рассуждения слишком поэтичны и к тому же парадоксальны. Не могли бы вы ещё немного рассказать мне об этих таинственных силах?

— Здесь нет никакой тайны, и я охотно объясню. Предположим на мгновение, что духовный план, или духовный уровень, о котором я говорил, — это какой-то неизвестный храм, в котором вам ещё не доводилось бывать, и существование которого у вас есть основание отрицать. И вот, кто-то берёт вас за руку и подводит к храму, а любопытство заставляет вас открыть его двери и заглянуть внутрь. Вот этим простым действием — тем, что вы заглянули на секунду, — вы навсегда устанавливаете связь между вашим сознанием и этим храмом. Вы уже больше не можете отрицать его существование и не можете стереть из своей памяти то, что уже однажды входили в него. А далее, в соответствии с характером и разновидностью ваших трудов и, разумеется, в пределах, освященных границами храма, вы будете жить на этом уровне до тех пор, пока ваше сознание не отделится от своего жилища в вашем теле.

— Что вы хотите сказать? И что связывает после смерти моё сознание, если только таковое существует, с этим храмом?

— Оно во всём связано с этим храмом, — торжественно ответил старик. — Самосознание после смерти невозможно вне храма духа. Следовательно, в вашем сознании сохранится только то, что вы совершили на уровне духа. Всё остальное окажется ложью и обманом зрения, оно обречено на гибель в Океане Майи.

Мысль о жизни вне моего собственного тела показалась мне забавной, я потребовал от своего друга, чтобы он рассказал мне об этом подробнее. Почтенный старик ошибся, думая, что меня увлек его рассказ, и охотно согласился продолжить.

Он принадлежал к храму Тци-о-нене, буддийского монастыря, столь же известного в Тибете и Китае, как и во всей Японии. В Киото нет другого более священного. Его монахи принадлежат к секте Дзено-ду и считаются учёнейшими между столькими другими учёными братствами. Вдобавок к этому, они находятся в дружбе и союзе с отшельниками-аскетами, последователями Лао-цзы, известными под названием ямабузи.

Так что нет ничего удивительного в том, что малейший намёк на интерес с моей стороны вызвал у священника поток столь высокой метафизики. С её помощью он надеялся излечить меня от неверия.

Здесь нет необходимости повторять длинную и сложную систему самого безнадежно запутанного и непостижимого из всех учений. Согласно его мировоззрению, нам необходимо тренировать себя для духовной жизни в мире ином так же, как можно тренироваться в гимнастике. Продолжая аналогию между храмом и «духовным уровнем», он попытался проиллюстрировать свою мысль. Сам он работал над собой в храме Духа две трети своей жизни и каждый день несколько часов посвящал созерцанию. Он знал, что после того, как он сбросит с себя своё смертное одеяние, то есть то, что он называет «обычной иллюзией», в своём духовном сознании он сможет снова и снова пережить чувство облагораживающей радости и божественного счастья, которые он уже испытал, пребывая в храме Духа, или которые должен был испытать там, — только после смерти они будут в сотни раз сильнее. Он много работал над собой на духовном уровне, как он говорил, поэтому надеялся, что будущее справедливо заплатит ему за труды.

— Но, предположим, что как и в том примере, о котором мы говорили, работающий только приоткрыл дверь храма и заглянул туда из простого любопытства. Он заглянул в святилище и никогда больше не переступал порога. Что тогда?

— Тогда, — ответил он, — в вашем будущем самосознании останется только это краткое мгновение, мгновение открываемой двери и ничего более. Наша жизнь после смерти повторяет и производит только те впечатления и чувства, которые были у нас в мгновения духовной жизни. Таким образом, если вы, заглянув на мгновение в жилище Духа, таили в своём сердце гнев, ревность или боль вместо смиренного почитания, тогда ваша будущая духовная жизнь, по правде говоря, будет печальной. В ней нечего будет воспроизвести кроме того самого мгновения, когда вы открыли дверь в порыве гнева или просто дурного настроения.

— Каким образом это будет повторяться? — настойчиво спросил я его в сильном изумлении. — Что же, по-вашему, со мной случится перед тем, как мне снова придётся воплотиться?

— В этом случае, — проговорил он медленно, взвешивая каждое слово, — вам придётся скорее всего открывать и закрывать дверь храма снова и снова, и время, которое уйдёт у вас на это закрывание и открывание двери, покажется вам вечностью.

Такое занятие после смерти показалось мне настолько забавно-гротескным и бессмысленным, что меня потряс совершенно произвольный сильнейший приступ смеха.

Мой почтенный друг был сильно напуган, увидев последствия своего урока метафизики. Очевидно, он не ожидал от меня такого буйного веселья. Однако он ничего не сказал, а со всё усиливающимися добротой и жалостью, которые светились в его узких глазах, продолжал смотреть на меня.

— Прошу вас, простите мне этот смех, — извинился я, — но скажите, неужели вы со всей серьёзностью заявляете мне, что то самое «духовное состояние», которое вы проповедуете и в которое так твёрдо верите, заключается в том, что мы будем повторять некоторые вещи, которые делали в реальной жизни?

— Нет, нет, не повторять, но усиливать их повторение, заполняя промежутки между поступками и делами, совершёнными нами на духовном уровне, — единственно реальном уровне существования. Я всего лишь привёл пример, и, без сомнения, для вас, как и для всякого человека, совершенно незнакомого с таинствами Видения Души, мой рассказ был не очень понятен. Я сам во всём виноват... Я просто хотел показать вам, что в духовном состоянии наше сознание освобождается от тела, и что это состояние есть плод каждого духовного поступка, совершённого в земной жизни, и если такой поступок лишён духовности, мы не можем ожидать никаких других результатов, кроме повторения самого поступка, вот и всё. Я молю богов о том, чтобы они избавили вас от таких бесплодных дел и помогли вам в конце концов увидеть определённые истины.

И затем, после обычной японской церемонии прощания, этот прекрасный человек ушёл.

Увы, увы, если бы я только знал тогда то, что знаю сейчас, мне бы и в голову не пришло смеяться. И как много я смог бы узнать!

Но чем более я удивлялся его обширным сведениям и научался любить его лично, тем менее мог помириться с его дикими идеями о возможности некоторыми из смертных приобретать сверхъестественные дары. Я чувствовал ужасную досаду за выказываемое им почитание ямабузи — религиозных союзников всех буддистских сект в стране. Их притязания на «чудотворство» были невыносимо противны моим материалистичным понятиям. Слышать, как каждый из моих киотских знакомых — включая японского товарища по фирме, одного из самых тонких хитрецов, которых я когда-либо знал на Востоке, — говорит об этих последователях Лао-цзы не иначе как с опущенными долу глазами, с набожно сложенными вместе ладонями, как перед идолом, и с подтверждениями об их «великих», «изумительных» дарах, — не хватало моего терпения! И кто они такие, эти великие маги, с их карикатурными претензиями на знание всех тайн природы; эти «святые нищие», живущие, как я тогда воображал, нарочно в делях и гротах

непосещаемых горных ущелий, на почти недосыгаемых вершинах, чтобы отнять у любопытных всякую возможность следить за ними и узнать их тайны. Кто они такие?... Просто нахальные ворожеи, гадальщики на картах, японские цыгане, продающие талисманы и амулеты, — и ничего более!..

Вот кто они такие. И с наибольшей яростью и самым твёрдым убеждением в своей правоте я спорил с теми, кто пытался убедить меня, что ямабуши живут загадочной жизнью, никогда не допуская непосвящённых в свои тайны. Но иногда они всё-таки принимают учеников, и, хотя быть учеником ямабуши очень трудно, такие люди есть, и поэтому у ямабуши есть живые свидетели, которые могут подтвердить величественную чистоту их жизни. В своих спорах я оскорблял и учителей, и учеников, называя их дураками, если не мошенниками, и доходил в своей ярости до того, что включал их в ряды членов синто. Синтоизм, или син-сын, вера в богов или в путь к богам — это вера в общение между божественными существами и людьми. Как религиозное течение синтоизм напоминает поклонение духам природы, и с этой точки зрения, пожалуй, ничего не может быть глупее. Поместив всех членов общества Син-Сын среди дураков и мошенников других сект, я приобрел множество врагов. Это произошло потому, что синто кануси (духовные учителя) считаются наивысшим классом общества и сам Микадо стоит во главе их иерархии. В их секту входят самые культурные и образованные люди Японии. Эти кануси секты синто не принадлежат к какой-то одной касте или классу. Кроме того, они не проходят никакого обряда посвящения, по крайней мере, известного тем, кто не принадлежит к этому обществу. Поскольку они никогда не требуют для себя особых привилегий и прав, а одеваются так же, как и все остальные непосвящённые, очень часто для окружающих они остаются профессорами или студентами, изучающими различные оккультные или духовные науки, поэтому я очень часто встречался и разговаривал с ними, даже не подозревая о том, с кем имею дело.

Прошли годы. Со временем мой неистребимый скептицизм усиливался и становился яростнее день ото дня. Я уже говорил о своей старшей любимой сестре, моей единственной родственнице, оставшейся в живых. Она вышла замуж и недавно переехала жить в Нюрнберг. Я относился к ней скорее как к дочери, чем как к сестре, её дети были так же дороги мне, как если бы они были моими собственными. Когда в течение нескольких дней мой отец потерял всё своё состояние, а у матери не выдержало сердце, именно моя старшая сестра стала ангелом-хранителем нашей бедной семьи. Из любви ко мне, младшему брату, она делала всё, чтобы оплатить мою учёбу, отказываясь от личного счастья. Она пожертвовала собой ради близких людей, помогая отцу и мне, до бесконечности откладывая свою свадьбу. Как я любил и почитал её! Время только усиливало мои семейные чувства. Те, кто утверждает, что атеист вообще не способен быть настоящим другом, любящим родственником или верным подданным, произносят сознательно или бессознательно величайшую клевету и ложь. Это огромная ошибка говорить, что материалист с годами ожесточается, что он не может любить так, как любит человек, верующий в Бога.

Правда, бывают и исключения, но, как правило, люди, о которых идёт речь, больше самолюбивы, чем скептически или просто грубо чувственны. Но если человек добродушен по своей природе, и у него нет никаких мотивов, кроме любви к разуму и истине, и если такой человек становится атеистом, его семейные чувства, любовь к близким ему людям только усиливаются. Все его эмоции и страстные желания, которые у людей религиозных вдохновляются невидимым и недостижимым, вся его любовь, которая в противоположном случае была бы без всякой пользы отдана воображаемому небу и божеству, обитающему на этом небе, у атеиста концентрируется и удешевляется, направляясь целиком на тех, кого он любит, и на человечество. В самом деле, только сердце атеиста

...может знать

Таинственное тихое течение

Любви двух братьев...

Именно братская любовь заставила меня пожертвовать личными удобствами и благосостоянием, чтобы сделать сестру счастливой, чтобы принести радость той, которая стала мне ближе матери. Я был совсем мальчишкой, когда оставил свой дом в Гамбурге, и работал с отчаянной серьёзностью человека, который преследует одну-единственную благородную цель: избавить от страданий тех, кого любит. Я очень скоро завоевал доверие своих работодателей, и они предоставили мне высокую должность, на которой я пользовался их полным доверием. Моей первой настоящей радостью и наградой стало замужество моей сестры. Я был рад помочь им в борьбе за существование. Моя любовь к ним была такой чистой и бескорыстной, что когда мне довелось увидеть её детей, любовь эта, вместо того чтобы ослабнуть, разделившись между столькими членами семьи, казалось, стала ещё сильнее. Мои чувства к сестре, которые питались способностью к глубоким и тёплым привязанностям в семейном кругу, были так велики, что мне и в голову никогда не приходила мысль зажечь священное пламя любви перед каким-либо другим кумиром. Семья моей сестры была единственной церковью, которую я признавал, и единственным храмом, в котором я совершал обряды поклонения перед алтарем святой

семейной любви и привязанности. По существу, с Европой меня связывала только её семья из одиннадцати человек, включая мужа. За все эти годы, а точнее за девять лет, я дважды пересекал океан с единственной целью — увидеть и прижать к своему сердцу дорогих мне людей. Мне больше нечего было делать на Западе, и, исполнив эту приятную обязанность, я всякий раз возвращался в Японию, чтобы не покладая рук трудиться ради их счастья. Ради них я оставался холостяком, чтобы богатство, которое я смогу собрать, перешло к ним целиком.

Мы переписывались с сестрой настолько часто, насколько позволяла длительность путешествия на почтовом пароходе и нерегулярность сообщения с Японией. Вдруг письма из дома перестали приходить ко мне. Почти год я не получал никаких вестей. День ото дня я становился всё беспокойнее, предчувствие величайшего несчастья постепенно овладело мной. Напрасно искал я в почте какую-нибудь весточку от родных, хотя бы в несколько слов. Все мои попытки как-то объяснить это молчание были бесполезны.

— Друг мой, — сказал мне однажды Тамура Хидейхери, единственный человек, которому я доверял свои печали. — Друг мой, попросите совета у святого ямабуши, это успокоит вас.

Разумеется, я отказался от его предложения со всей сдержанностью, на какую был способен. Но пароход приходил за пароходом, а новостей для меня не было. Я чувствовал, что моё отчаяние усиливается с каждым днём. В конце концов оно превратилось в непреодолимую страсть, в отвратительное, болезненное желание узнать пусть даже самое худшее, как мне тогда казалось. Я долго боролся с отчаянием, но оно оказалось сильнее меня. Всего несколько месяцев назад я прекрасно владел собой, теперь же я стал рабом отвратительного страха. Как философ-фаталист, последователь Гольбаха, я всегда считал необходимость всего происходящего единственной причиной и основой философского счастья. Именно необходимость помогает обуздывать человеческую слабость. И вот теперь я, философ-фаталист, желал испробовать нечто такое, что сродни гаданию! Дело зашло так далеко, что я забыл первейший принцип своего философского учения: всё в этом мире необходимо. Это единственный принцип, который должен утешать нас в печали и вдохновлять на благотворную покорность, на разумное подчинение законам слепой судьбы, против которых так часто бунтуют наши глупые чувства. Да, я забыл этот принцип, и меня охватило позорное суеверное желание, глупое и низкое желание узнать если не будущее, то, по крайней мере, то, что происходит на другой стороне земного шара. Моё поведение, характер и интересы совершенно изменились. И вот я, как слабонервная девчонка, однажды поймал себя на мысли, что пытаюсь, напрягая свой мозг до безумия, увидеть — говорят, что у некоторых это получается, — то, что происходит за океаном, и узнать наконец реальную причину этого долгого необъяснимого молчания!

Однажды вечером, на закате, мой старый друг, почтенный Тамура появился на веранде моего низенького деревянного дома. Я не заходил к нему несколько дней, и он пришёл узнать, как я себя чувствую. Я воспользовался возможностью ещё раз посмеяться над тем, кого на самом деле очень любил и уважал. Довольно двусмысленным тоном, в котором я раскаялся до того, как успел произнести свой вопрос, я спросил, зачем ему понадобилось утруждать свои ноги и идти ко мне, когда он мог просто спросить о моём состоянии какого-нибудь ямабуши. Поначалу он, казалось, обиделся, но внимательно посмотрев на моё расстроенное лицо, он мягко заметил, что может только ещё раз предложить то, что он мне советовал уже раньше. Только один из ямабуши, этого святого монашеского ордена, может утешить меня в моём теперешнем состоянии.

Тогда мною овладело безумное желание бросить ему вызов, заставить его делом доказать свои слова. Я сказал ему, чтобы он привёл кого-нибудь из этих так называемых волшебников, и пусть тот назовёт мне имя человека, о котором я думаю, и расскажет, что этот человек делает в данный момент. Он тихо ответил, что моё желание легко удовлетворить. Всего в двух домах от

моего дома ямабуши пришёл навестить больного синто, он может привести его ко мне, если только я пожелаю.

Я пожелал, и участь моя была решена.

Как мне найти слова, способные описать последовавшую сцену!

Через двадцать минут передо мной стоял величественный старик, необычайно высокий для японца. Он был бледен и худ. Вместо ожидаемого раболепного смирения я увидел в нём спокойное достоинство. Всякий, кто сознаёт своё нравственное превосходство, с равнодушным презрением смотрит на ошибки других. Он не отвечал на мои насмешливые непочтительные вопросы, которые я лихорадочно задавал ему один за другим. Он молча смотрел на меня, как врач на бредящего пациента; когда его глаза остановились на мне, я почувствовал, или скорее увидел, как яркий и острый луч света, словно серебряная нить, вырвался из чёрных узких глаз, глубоко посаженных на его жёлтом лице. Этот луч или нить, казалось, проникли в самый мой мозг и сердце, как стрела, и начали извлекать оттуда мои мысли и чувства. Да, я видел и чувствовал это, и очень скоро это стало невыносимым.

Я не выдержал и с вызовом в голосе предложил рассказать мне, что он прочёл в моих мыслях. Он спокойно и правильно ответил на мой вопрос: меня беспокоила, чрезвычайно беспокоила судьба родственницы, её мужа и детей. Он правильно описал мне их дом, будто знал его столь же хорошо, как и я. Я бросил подозрительный взгляд на своего друга бонзу, который мог заранее рассказать всё это ямабуши. Однако я вспомнил, что Тамуре не было известно, как выглядит дом моей сестры, а японцы, как правило, правдивы и остаются друзьями до самой смерти. Мне стало стыдно за своё подозрение. Чтобы как-то загладить вину перед собственной совестью, я спросил у отшельника, не мог бы он рассказать мне, что сейчас происходит с моей любимой сестрой.

— Иностранец, — ответил он мне, — не поверит ничьим словам и никаким знаниям из чужих уст. Если ямабуши скажет ему, то впечатление от его слов рассеется через несколько часов, и спрашивающий останется столь же несчастным, как и раньше. Есть только один выход: нужно сделать так, чтобы иностранец увидел всё своими глазами и сам узнал истину. Готов ли спрашивающий к тому, что неизвестный ему ранее ямабуши приведёт его в необходимое состояние?

Я слышал в Европе о загипнотизированных сомнамбулах и других мошенниках, претендующих на дар ясновидения и, поскольку я в них не верил, я не имел ничего против самой процедуры гипноза. Несмотря на непрекращающуюся душевную боль, я не смог удержаться от улыбки при мысли об операции, которая мне предстояла и на которую я шёл по своей охоте. Тем не менее я выразил своё согласие молчаливым поклоном.



Старый ямабузи не стал терять времени; он посмотрел на заходящее солнце и найдя, вероятно, властелина Тень-Зио-Дайзина (духа, мечущего стрелы) благоприятным для приготовляемой им церемонии, проворно вынул из-под платья маленький узелок. В нем была небольшая лаковая шкатулка, кусок растительной бумаги, сделанной из коры шелковичного дерева, и перо, которым он начертал на ней несколько строк найденскими письменами — особый род букв, употребляемый только в религиозных или мистических документах. Кончив, он снова полез в карман и вытащил из него небольшое круглое зеркальце из стали, необычайно блестящей полировки, в которое, держа его перед моими глазами, он и попросил меня смотреть, не отрывая глаз.

Я уже знал и прежде о таких зеркалах и то, что они в употреблении только в некоторых храмах, где я их не раз видал. Туземцы находятся в полной уверенности, что под управлением и волею их адептов и магов дайдж-дзины, великие духи, открывают вопрошающим всю их судьбу. Я тотчас же вообразил, что ямабузи собирался вызвать такого духа, чтобы тот отвечал на мои вопросы. То, что случилось, однако, в действительности, оказалось совершенно неожиданным.

Не без некоторого отвращения в душе, вызванного глубоким чувством глупости того занятия, которому предаюсь, я прикоснулся к этому зеркалу и внезапно испытал странное ощущение в предплечье руки, которой держал зеркало. На короткое мгновение я забыл о своей позиции презрительного наблюдателя и не мог с насмешкой относиться к происходящему. Неужели это страх овладел моим мозгом, на мгновение парализуя его,

... тот страх, который сердце жжёт,  
Желающее знать, что смерть несёт.

Нет, я продолжал убеждать себя, что из этого эксперимента ничего не выйдет, что вообще ни один разумный человек не может поверить в такое. Что же это было? Какое-то странное ледяное существо проползло в моём сознании и вызвало в моей душе чувство невыразимого ужаса, словно ядовитая змея впилась в моё сердце. Моя рука судорожно дёрнулась, и я уронил зеркало, — краснея от стыда, не могу добавить эпитет «магическое» — и никак не мог заставить себя поднять его с кушетки. Какое-то мгновение во мне происходила ужасная борьба между неопределёнными и совершенно для меня непонятными силами — желанием заглянуть в глубины этого отполированного зеркала и моей гордыней, которую, казалось, ничто не могло победить. В конце концов желание посмотреть возобладало, и мятеж гордыни был подавлен желанием бросить вызов ей же самой. На лакированном столике лежала книжка европейского романа, она была открыта. Мой взгляд случайно упал на её страницы, и я прочел слова: «Покров, скрывающий от нас будущее, соткан любящей рукой». Этого было достаточно. Гордыня, до сих пор удерживавшая от унизительного суеверного эксперимента, теперь заставила меня бросить вызов судьбе. Я поднял зловеще сверкающий диск зеркала и приготовился заглянуть в него.

Пока я смотрел в зеркало, ямабузи сказал поспешно и тихо несколько слов бонзе Тамуре, а я тотчас же окинул обоих быстрым и подозрительным взглядом, но был снова пойман в несправедливости.

— Святой муж, — сказал бонза, — желает, чтобы я задал вам вопрос и в то же время дал бы вам предостережение. Если вы решились видеть то, что вы так желаете, сами и теперь же, то вам

придётся подвергнуться ритуальному процессу очищения, после того как вы узнаете посредством зеркала всю правду. Иначе вы обречёте себя в будущем и до конца вашей жизни видеть всё касающееся вас, — а иногда даже и не прямо касающееся — и происходящее на каком бы то ни было от вас расстоянии, и против вашей воли. Вследствие этого, он и просит вас согласиться на обряд очищения, так как он никогда не мог бы простить себе впоследствии, что не предупредил вас заранее. Он считал бы себя виноватым в том, что, поступив согласно с вашим желанием, он тем самым превратил вас в неменяемого ясновидящего. Согласны ли вы, друг, дать ему такое обещание?

— Об этом будет время подумать после, когда — или скорее если — я что-нибудь увижу, — уклончиво ответил я и подумал: — А в этом-то именно я пока весьма сомневаюсь.

— Очень хорошо; только не забывайте, друг, что вы получили предостережение. Последствия да останутся с этой минуты на вашей совести...

Я взглянул на стенные часы, и у меня вырвался жест нетерпения, ясно понятый ямабузи. Было ровно семь минут шестого.

— Определите мысленно и с величайшей точностью то, что вы желали бы видеть и узнать, — сказал он, передавая мне в руки зеркало и исписанный им лоскуток бумаги с наставлением, как с ними поступить.

Я выслушал его пояснения скорее с нетерпением, чем с благодарностью, и на какое-то мгновение сомнение снова овладело мной. Тем не менее я ответил ему, устанавливая зеркало в нужном положении:

— Я желаю одного — узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать.

Произнёс ли я эти слова громко и в присутствии моих двух свидетелей или же только мысленно?... До сего дня этот вопрос остался для меня неразрешённым. Вспоминаю ясно лишь одно: пока я сидел, вперея глаза в зеркало, ямабузи, в свою очередь, не сводил с меня глаз. Но длилось ли это три секунды или же три часа, я никогда не мог бы решить... если бы не одно обстоятельство, случившееся после того, как я уже пришёл в себя, о котором скажу далее. Я могу дать себе отчёт в происшедшем только до той минуты, когда, твёрдо обхватив зеркало левой ладонью и пальцами и держа бумагу с мистическими письменами между указательным и большим пальцами правой руки, — я потерял внезапно и без малейшего, казалось, перехода всякое сознание об окружающих меня предметах. Этот переход от деятельного состояния бдения к такому, которое мне невозможно объяснить на словах тому, кто никогда сам не испытывал чего-либо подобного, — был так быстр, что в то самое время когда мои глаза вдруг перестали видеть перед собою бонзу, ямабузи и даже комнату, а я сам, как мне казалось, лишился всякого сознания о внешних предметах, — я всё-таки продолжал ясно видеть (к своему удивлению впоследствии, но не тогда) собственную наклоненную над зеркалом голову и часть спины лежащей на диване фигуры, которая тоже оказалась моею. Затем я почувствовал сильный, словно произвольно данный мне, мною самим, толчок вперёд, — будто я оторвался от самого себя и с занимаемого мною на диване места, — и тогда как все прочие чувства оставались в полном бездействии, как бы парализованные, мои глаза, как мне показалось, вдруг совершенно неожиданно остановились на никогда не виданном, никогда не посещаемом мною доме сестры, в Нюрнберге, в который она переехала после моего последнего визита к ней в Европу. Да, я видел ясно — гораздо яснее теперь, нежели в моём представлении о нём по письмам, — этот новый её дом, как и разные другие, также до того времени незнакомые мне местности. Вместе с этим и с чувством как бы потухающего сознания в мозгу — умирающие так должны чувствовать — моя последняя, неясная мысль, столь слабая, что я едва её мог уловить, была о том, что я должен был казаться присутствующим, в положении сомнамбула, очень, очень смешным!

Однако это «чувство», поскольку это было скорее чувство, чем мысль, вскоре прервалось, будто внезапно погасло. Его закрыл внутренний образ (я не могу назвать это иначе) меня самого или, по крайней мере, того, что я почитал собой, а точнее своим телом, которое лежало с посеревшим лицом на кушетке, словно мёртвое, не способное отозваться ни на какое проявление внешней жизни, но всё ещё уставившееся холодным остекленевшим взглядом трупа в зеркало. Наклонившись над моим телом, стоял высокий ямабуши, протянув свои иссохшие руки перед собой и разрезая ими воздух над моим бледным лицом. В это мгновение я почувствовал непреодолимую, смертельную ненависть к этому человеку. Когда мне показалось, что я уже готов был броситься на этого подлого шарлатана, мой труп, комната и всё, что в ней было, задрожали и заблестали в красноватом мерцающем свете и быстро поплыли от «меня» прочь. Перед моим «зрением» промелькнуло ещё несколько гротескных искажённых теней, и вот с последним угасающим всплеском ужаса, невероятным усилием пытаюсь понять, кто же я теперь, я почувствовал, что на меня опускается огромный занавес темноты, который покрыл меня своим могильным саваном, и последние мысли умерли во мне.

Как странно... но где же я теперь?... Было очевидно, что я уже пришёл в себя, так как я живо сознавал, что двигаюсь вперёд, ощущая вместе с тем, будто без всякого для того с моей стороны произвольного усилия и даже желания я плыву в совершенной мгле. Первая поразившая меня мысль, скорее инстинктивная, нежели вследствие какой-либо причинности, — была та, что я нахожусь в длинном подземном проходе, полном воды, земли и удушливого воздуха, хотя телесно у меня не было ни представления, ни ощущения касательно присутствия или какого-либо соприкосновения с тем или другим элементом. Я попробовал повторить громко свою последнюю фразу: «Я желаю одно: узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать», — но из этих четырнадцати слов единственными явно расслышанными мною были два «желаю одно», да и эти, вместо того чтобы прозвучать из собственной гортани, дошли до меня, правда, произнесённые собственным моим голосом, но как бы совершенно вне меня, где-то близко, но не из меня. Одним словом, они были произнесены моим голосом, но не мною, не моими устами...

Ещё одно быстрое, произвольное движение, ещё раз я ныряю в непроницаемую тьму незнакомого мне элемента, и я вижу себя стоящим — буквально стоящим, — как мне показалось, в какой-то подземной яме. Я был плотно окружён со всех сторон, над головой и под ногами, направо и налево, землёю, но невзирая на это прикосновение, я не испытывал никакой тяжести, и эта земля казалась моим физическим (как я тогда думал) чувствам совершенно невещественной и прозрачной. Мне ни на одну секунду не представилась в то время вся нелепость, скажу более — невозможность такого только кажущегося факта! Ещё мгновение, одно короткое мгновение, и я заметил — о, невыразимый ужас, когда я думаю об этом теперь, потому что тогда, хотя я и видел, сознавал и запоминал в уме все факты и события с гораздо большей, нежели когда-либо в другое время, ясностью представления, я, однако, не чувствовал себя ни тронутым, ни поражённым тем, что я видел, — я заметил у моих ног гроб. То был простой, сколоченный из досок, голый гроб, последнее ложе бедняка, в котором, невзирая на его плотно заколоченную крышку, я ясно различал отвратительный, с оскаленными зубами череп и весь исковерканный, сломанный и на многие части разбитый мужской скелет, который, казалось, был вынесен из залы пыток усопшей инквизиции, где его злополучный владелец был истолчен в порошок страшными орудиями этого средневекового «святого» учреждения.

«Кто бы это мог быть?..» — подумал я. В эту минуту я снова услышал свой голос... «Знать причину...», — произнёс он эти слова так, как будто бы они были непрерывным продолжением одной и той же сказанной мною и теперь повторяемой фразы. Голос звучал близко, и вместе с этим словно он раздавался где-то далеко, невообразимо далеко, на другом конце земного шара, вынуждая меня к впечатлению, что всё это долгое подземное странствование, последующие за сим размышления и открытия не имели никакой продолжительности, были совершены в короткий, почти мгновенный интервал времени между первыми и средними словами произнесённого мною желания; что они были начаты, во всяком случае, если в сущности и не произнесены вслух, моим голосом в Японии, и теперь только окончены.

Безобразные, изуродованные останки начали постепенно шевелиться под моим устремлённым на них взглядом. Они преобразались, принимали для меня всё более и более знакомый образ. Не торопясь и как бы с большой аккуратностью, разбитые части соединялись одна с другою. Кости покрылись плотью, и с чем-то похожим на удивление, но без малейшего чувства горя или даже волнения, я узнал в этих искалеченных останках Карла, мужа моей

дорогой сестры, родного зятя. «Но как же это случилось, как мог он дойти до такой, по-видимому, ужасной смерти?» — задал я мысленно себе вопрос; а то состояние, в котором я тогда находился, очевидно, давало возможность к немедленному исполнению всякого моего желания.

Едва эта мысль промелькнула у меня в уме, как я увидел, словно в панораме, давно, как видно, прошедшую картину событий смерти бедного Карла во всей её ужасающей реальности и до малейшей из её страшных подробностей. Вот он стоит передо мною полный жизни и сил, надежд и радости, только что получивший от своего принципала доходное место. Он рассматривает громадную, только что полученную лесопильную машину на их заводе; пробует в первый раз присланное из Америки чудовище, и оно пыхтит, ревет и начинает двигаться под всё увеличивающейся силою пара. Он наклоняется над нею, чтобы лучше рассмотреть механизм внутренних колес и завинтить покрепче винт. Полы его рабочего платья попадают между зубцами крутящихся на полном ходу колёс, и он мгновенно втягивается, потеряв равновесие, и падает вниз... Он скручен и истерзан в одно мгновение ока; и прежде, нежели незнакомые с механизмом рабочие могут остановить её, машина-чудовище уже отпилила и отбросила его ноги в отдел готовых досок! Его вынимают или, скорее оставшиеся от него куски — мёртвого, истерзанного в клочки, ужас наводящей, какой-то неузнаваемой массой ещё трепещущего мяса и крови! Я следую за его останками, сложенными под куском полотна на ручной тачке, которую тихо катят перед собою двое бледных, растерянных рабочих. Его отвозят в госпиталь, но тут раздаётся грубый голос лазаретного надсмотрщика, приказывающего свести эту «вещь» обратно, откуда взяли, домой, к вдове и сиротам, которые, быть может, примут на себя его похороны. «В больницы мёртвых не принимают». Снова я следую за этой процессией смерти, и нахожу весёлое, ничего не подозревающее семейство в небольшой чистой столовой: оно ждёт мужа и отца к обеду. Я вижу мою сестру, дорогую и многолюбимую, и остаюсь равнодушным зрителем сцены, чувствуя одно тупое любопытство узнать, чем всё это кончится. Моё сердце, чувства, даже моя личность будто совершенно исчезли, передались другому, которому они теперь и принадлежат, тогда как я сам, в своей новой личности, стою равнодушный и смотрю на разыгрывающуюся передо мною драму. Я вижу, как неприготовленная к постигнутому её несчастью сестра моя получает неожиданное известие. Я сознаю, мгновенно и безошибочно, без малейшего колебания, последствия этого ужасного для неё удара и с любопытством слежу за происходящим в ней занимательным внутренним психо-физиологическим процессом. Слежу и запоминаю всё до малейшей подробности, не забывая ничего.

Я слышу, во-первых, пронзительный, долгий, отчаянный крик, потом произнесённое сестрою моё имя, а затем глухой звук от тяжёлого падения живого на останки мертвого тела. Далее я слежу за быстрыми, почти неуловимыми изменениями в её мозгу и внимательно наблюдаю за червеобразным ускоренным и до чрезмерности напряженным движением трубчатых фибров; за мгновенной переменой цвета в головной оконечности нервной системы, за переходом волокнистого вещества нервов из белого в ярко-красный, а затем и в тёмно-красный, синеватый цвет. Замечаю, как внезапно вспыхивает фосфорическая, необычайно блестящая лучезарность в её мозговой оболочке, вижу, как она мерцает, снова вспыхивает, дрожит, темнеет и, окончательно исчезнув, как всё вокруг неё потухает... За этим наступает мрак — полнейшая, без малейшего проблеска в области памяти мгла, увеличивающаяся всё более и более по мере того как эта лучезарность, всё удлиняясь и принимая, наконец, призрачную форму тела, вдруг как бы проскользнув через темя из головы, рассеивается и исчезает, а я говорю про себя: «Это — безумие, неизлечимое, на всю оставшуюся жизнь помешательство, потому что принцип рассудка не временно заснул, но оставил своё хранилище навеки». И за этой мыслью я снова и в третий раз слышу мой далёкий и вместе с тем близкий «голос», произносящий возле меня с особенным

ударением слова: «...Почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать»... Но ещё до окончания последнего слова я вижу перед собою длинный, почти нескончаемый ряд несчастных событий.

Я вижу мать семейства, вследствие постигшего её удара, беспомощной, неизлечимой идиоткой в палате умалишенных при городской больнице, а детей в приюте нищих сирот. В довершение всего, я вижу племянников, мальчика пятнадцати лет и девочку, годом моложе, моих двух любимцев, взятых в услужение незнакомыми людьми. Шкипер купеческого судна увозит первого, а старая жидовка удочеряет слабую здоровьем девочку. Да, я вижу все эти события со всеми леденящими кровь подробностями.

Заметьте: если я употребляю такие выражения, как «леденящие кровь», «ужасные» и т. д., они являются выражением лишь последующих моих чувств. Во всё время вышесказанного видения я не ощущал ни горя, ни жалости. Чувства мои были, как уже сказано, парализованы так же, как и наружные ощущения. Только вернувшись «назад», я осознал во всей полноте весь ужас моих утрат.

Многое из того, что я так страстно отрицал тогда, теперь, благодаря собственному печальному опыту, я должен признать. Если бы мне сказали в то время, что человек может действовать, думать или чувствовать независимо от его мозга или органов чувств, скорее благодаря какой-то таинственной, по сей день непонятной силе, если бы кто-то сказал мне, что меня в уме могло перенести за тысячи миль от моего тела, чтобы я стал свидетелем не только настоящего, но и прошедшего и запомнил увиденное, поместив его в свою память, — я бы, наверное, объявил этого человека сумасшедшим. Увы, теперь я уже не смог бы сделать этого, потому что теперь я сам стал тем самым «сумасшедшим». Десять, двадцать, сорок раз в течение всей этой несчастной жизни мне пришлось испытать и пережить такие моменты существования вне моего тела. Да будет проклят тот час, когда эта ужасная сила была пробуждена во мне! У меня даже нет последнего утешения: отнести эти события к душевной болезни. Когда сумасшедшие бредят и видят то, чего нет, они видят это в том мире, к которому они не принадлежат. Мои же видения всегда оказывались точными. Но вернёмся к моему печальному рассказу...

Едва я успел увидеть свою племянницу в её новом израильянском семействе, как снова почувствовал такой же толчок, как и тот, что заставил меня плыть (как мне показалось) над земною поверхностью. Я открыл глаза, и первый бросившийся мне в глаза предмет случайно и безо всякого на то с моей стороны желания — были стенные часы. Стрелки показывали ровно семь с половиною минут шестого!..

В продолжение одной или двух секунд я ничего не помнил из виденного мною. Интервал между временем, когда я взял из рук ямабузи зеркало, и моим последним взглядом на часы, казался мне слившимся в одно, и я только что приготовился просить ямабузи поспешить с его опытом надо мною, когда с быстротою молнии полное воспоминание о случившемся вдруг мелькнуло у меня в уме, обдав мозг словно кипятком. Испустив крик ужаса и отчаяния, я почувствовал, будто на меня свалилась, раздавливая своею тяжестью, вся вселенная. С минуту я оставался безмолвным, чувствуя себя олицетворением человеческой развалины среди целого мира смерти и опустошения. Биение сердца остановилось; я задышался. Свершилась моя судьба, и безрассветная мгла покрыла навеки будто траурной пеленою весь остаток моей жалкой жизни.

# V

## Возвращение сомнений

Но затем так же быстро, как и моё отчаяние, явилась реакция. Сомнение закралось в душу, которое и разгорелось немедленно в свирепое желание отвергнуть возможность действительности всего увиденного мною; упрямое решение взирать на случившееся как на пустой, бессмысленный сон, на эффект расслабленного долгим беспокойством воображения. Дух отрицания овладел мною неудержимо. Да, то было лишь лживое видение, нелепый фокус, произведённый с моими чувствами, вдруг представившими мне картины смерти и страдания вследствие целых недель и месяцев моего нравственного и нервного состояния.

— Как мог я видеть всё то, что я видел и слышал, в менее нежели полминуты?! — воскликнул я.

Одна только теория о сновидениях, быстрота, с которой вещественные изменения — от коих зависят идеи в наших снах — возбуждаются в гемисферических наростах, может объяснить тот длинный померещившийся мне ряд событий в такой короткий интервал времени. В одних сновидениях может так бесследно исчезать и уничтожаться всякое отношение между пространством и временем. Ямабузи ни при чём в этом неприятном кошмаре. Он воспользовался и пожинает лишь то, что посеяно мною самим; посредством какого-то адского, тайного, одним этим обманщикам известного зелья ему удалось заставить меня впасть на несколько секунд в бесчувственное состояние и вообразить видение — отвратительное и ужасное, но настолько же и лживое!.. Прочь от меня такие мысли! Я им не верю... Ещё несколько дней терпения, и в Европу должен отправиться пароход... Завтра же я уезжаю из Киото!

Этот бессвязный монолог я проговорил громко, невзирая на присутствие моего уважаемого друга Тамуры и ямабузи. Последний стоял передо мною в той же позе, когда вручил мне зеркало, и продолжал глядеть на меня, или правильнее выражаясь, глядеть сквозь меня — спокойно и в величавом молчании. Бонза, добродушное и кроткое лицо которого выражало самое искреннее ко мне участие, приблизился ко мне, точно к больному ребёнку, и ласково положил свою руку на мою:

— Друг, — сказал он, — вы не должны уезжать отсюда до полного очищения от соприкосновения с низшими духами — дайдж-дзинами и не приняв мер к ограждению вашей души от нападений этих неразвитых тёмных сил природы. Вы должны позволить нам запереть вход к ней...

Не теряйте же времени и позвольте святому мастеру, стоящему перед вами, очистить вас немедленно.

Вместо благодарности он получил от меня суровый и грубый отказ, поток насмешек над его идеей, что я способен усмотреть в этом видении что-либо кроме пустого сновидения, а в ямабузи — нечто более наглое фокусника.

— Я выезжаю завтра же, даже если бы мне пришлось для этого потерять всё моё состояние! — воскликнул я.

— Вам придётся раскаиваться целую жизнь, если вы оставите Киото прежде, чем очиститесь от влияния тёмных сил... А это может быть совершено только этим святым старцем!.. — испуганно уговаривал меня бонза. — Дайдж-дзины всегда настороже у открытых дверей, и они вас одолеют!..

Я прервал его грубым смехом и ещё более грубо осведомился о размере платы, должной мною этому «святому старцу» за сделанный им надо мною опыт.

— Ему не нужны ваши деньги, — получил я в ответ. — Он принадлежит к самому богатому в мире Братству; члены его ни в чём не нуждаются, возвысься надо всем земным, а стало быть, и над жаждою богатства. Не оскорбляйте кроткого и доброго человека, который пришёл к вам на помощь единственно из чистого сострадания к вашему горю и с желанием облегчить его...

Но я отказался внимать этим разумным и мудрым речам. Дух гордости и возмущения овладел мною неудержимо, заставил забыть всякое чувство личного уважения и дружбы и довел меня до забвения простого приличия. Счастьем было для меня то, что когда в бешенстве я повернулся к престарелому аскету с намерением выгнать его из дома как обманщика, его уже не было в комнате.

Я не заметил, как он вышел, а позднее вспомнил, что, решившись подвергнуть себя его чарам, сам запер входную дверь на ключ, который и лежал на столике нетронутым. Как мог он выйти? Но в ту минуту я приписал его исчезновение трусливому бегству вследствие того, что я вывел его на чистую воду.

О безумный, слепой, тщеславный идиот! Зачем отказывался я тогда признать могущество ямабузи, как не понял, не осознал я в ту роковую для меня минуту, что с его удалением разрушалось навеки спокойствие целой жизни моей!.. Но я не сознавал в то время ничего подобного. Даже роковой демон, вызвавший всю эту сцену — неизвестность о судьбе любимых, — оказался теперь вполне покорённым более могущественным бесом, хотя и неразумнейшим из всех, — слепым скептицизмом. Тупое, болезненное неверие, упрямое отрицание очевидности собственных чувств и непоколебимая решимость взирать на всё видение как на фантазию моего усталого, измученного догадками мозга, овладели мною бесповоротно. Так велико было моё ослепление, что я даже не обратил внимания на благоразумный совет моего старого друга бонзы, советовавшего мне телеграфировать нюрнбергским властям о моём скором приезде и, в случае какого-либо несчастья с родителями, просить их приказать присмотреть за детьми. Я отверг совет с полным презрением. Последовать ему равнялось сознанию, что в моём глупом видении могла быть хоть какая-то доля правды, что я допускал возможность прозревать события на другом конце света внутренним душевным зрением (нелепое выражение!), и что в том, наконец, что мне пригрезилось, было нечто более химеры пустого сновидения.

— Мой разум, моя душа, — рассуждал я, отвечая на увещевания бонзы, — что такое всё это в сущности? Неужели же мне следует, по-вашему, уверовать наравне с суеверными глупцами, что это произведение фосфора и старого мозгового вещества есть высшая часть самого меня; что оно действует и зрит помимо моих физических чувств? Никогда и ни за что! Так же, как я никогда не смогу поверить в «мудрость» планет астрологии или в «дайдж-дзина». Как я могу признаться в том, будто верю, что Юпитер, Солнце, Сатурн и Меркурий — это действующие силы? И эти достойные силы управляют каждая своей сферой, и эти сферы заботятся о судьбах смертных? Разве могу я всерьёз считать, что какие-то воздушные бестелесные образования могли руководить моей «душой» во время этого неприятного сновидения? Да я с отвращением смеюсь при одной только глупой мысли об этом. Я считаю оскорбительным для моего интеллекта и для силы человеческого разума говорить о невидимых существах, о субъективных знаниях и тому подобных сумасшедших суевериях.

Короче говоря, я попросил своего друга бонзу избавить меня от ненужных споров и тем самым сохранить нашу дружбу.

Вот так я безумно и страстно спорил с почтенным японцем, стараясь изо всех сил заставить его поверить в то, что внезапно сошёл с ума. Но его поразительное терпение оказалось более чем равным моей глупой страсти. И он ещё раз стал умолять меня ради будущего позволить провести над собой определённые и необходимые очистительные обряды.



— По-моему, — продолжал я, перефразируя известное изречение Рихтера, — «всё же лучше жить в воздухе, разрежённом донельзя воздушным насосом здорового неверия», нежели «в густом тумане глупого суеверия»! Не верю и не хочу верить! — повторял я, — но так как мне становится более не под силу бороться с такою неизвестностью о судьбе сестры, то я и еду в Европу...

И я действительно уехал спустя три дня, не выдав более моего приятеля бонзу и даже не простясь с ним. Он, очевидно, чувствовал себя огорчённым, быть может, серьёзно оскорблённым моими более нежели непочтительными, грубыми и обидными отзывами о человеке, которого он так справедливо почитал; и его последние слова прощания в тот навеки памятный мне вечер были:

— Друг, молю, чтобы вам не пришлось рассказаться в своём неверии и опрометчивости. Да простит и охранит вас благословенная Кван-Он (богиня милосердия) от злых дзинов (духов) — потому что теперь, когда вы напрямик отказываетесь подвергнуть себя очистительному обряду, предлагаемому вам святым ямабузи, более не в его воле охранить вас от дурного влияния тёмных сил, вызванных вашим неверием и презрением к истине. Простите.

Но позвольте мне в час прощания просить, умолять вас выслушать старика, который желает вам добра и хочет предупредить об опасности, убедить вас в существовании вещей, о которых вы до сих пор ничего не знаете. Могу ли я говорить?

— Продолжайте и говорите всё, что хотите сообщить, — грубо согласился я. — Но позвольте предупредить вас в свою очередь, что ничего из того, что вы можете сказать сейчас, не заставит меня поверить в ваши позорные суеверия, — добавил я с чувством жестокого удовольствия, которое доставило мне ещё одно бессмысленное оскорбление.

Но этот прекрасный человек не обратил внимания на новые насмешки. Я никогда не забуду торжественной серьёзности его прощальных слов и сочувствующего, полного раскаяния выражения его лица, когда он понял, что все его просьбы бесполезны и его доброжелательное вмешательство только погубило меня.

— Прислушайтесь к моим словам, мой добрый господин, — начал он, — и узнайте, что если этот святой и почтенный человек, который открыл ваше «зрение души», чтобы избавить вас от переживаний, не завершит работу, ваша будущая жизнь вряд ли будет достойна называться жизнью. Ему нужно защитить вас от невольных видений такого же рода. Если вы не согласитесь на это по собственной воле, то останетесь во власти сил, которые будут держать и преследовать вас, доводя до безумия. Знайте, что «развитие дальнего видения» (ясновидение) доступно по собственной воле лишь тому, от кого у Матери Милосердия, великой Квон-Он, нет тайн. Начинающие должны обращаться за помощью к воздушным силам (первоначальным духам), которые по природе своей бездушны и поэтому злобны. Знайте также, что лишь Архат (поражающий врага) подчинил себе эти существа, превратив их в своих слуг, и ему нечего бояться. Те же, кто над ними невластны, становятся их рабами. Нет, не смейтесь в своей великой гордыне и невежестве, но слушайте дальше. Во время видения и в то время, когда внутренние органы чувств видящего направлены на восприятие событий, которые его интересуют, дайдж-дзин полностью овладевает им, если он, как и вы, неопытен, и в это время видящий перестаёт быть самим собой. Пока человек находится в этом состоянии, дайдж-дзин, который направляет его внутренний взор, надолго делает его душу низкой и подлой, превращая его на этот промежуток времени в существо подобное ему самому. Лишаясь божественного света, человек становится бездушным. Пока он связан с дайдж-дзином, он не будет знать человеческих чувств — ни жалости, ни страха, ни любви, ни милосердия.

— Подождите! — невольно воскликнул я, так как его слова ясно вызвали в моей памяти то равнодушие, с которым я смотрел на отчаяние сестры и внезапную потерю разума, которую она

пережила во время моей галлюцинации. — Подождите... Ну нет, это было бы ещё большим безумием для меня прислушиваться или искать какой-то смысл в вашей смехотворной истории! Но если вы знали, что это будет так опасно, почему вы посоветовали мне провести этот опыт? — добавил я насмешливо.

— Опыт должен был продолжаться всего несколько секунд и не причинил бы вам никакого зла, если бы вы сдержали своё обещание и позволили провести обряд очищения, — последовал печальный и скромный ответ. — Я желал вам добра, друг мой, сердце моё разрывалось при виде ваших страданий, которые усиливались с каждым днём. Этот опыт безвреден, если его проводит тот, кто знает, и становится опасным, когда последней предосторожностью пренебрегают. Тот самый Владыка Видений, который открыл вход вашей души, должен сам закрыть его, воспользовавшись особой печатью очищения, которая защищает от дальнейших, уже намеренных вторжений...

— Владыка Видений! Вы только послушайте! — вскричал я, грубо обрывая его, — сказали бы лучше: Владыка Обмана!

Его доброе старое лицо стало таким печальным, в нём была такая боль, что я понял, что зашёл слишком далеко, но было поздно.

— В таком случае, прощайте! — сказал старый бонза, поднимаясь. И, совершив обычный церемониал вежливого прощания, Тамура вышел из моего дома в молчании, исполненном достоинства.

# VI

## Я уезжаю, но не один

Несколько дней спустя я отплыл из Японии. Всё это время я не видел моего почтенного друга бонзу. Очевидно, в тот последний, навеки памятный для меня вечер он был действительно серьёзно обижен моим более чем непочтительным обхождением и оскорбительными замечаниями о человеке, которого он почитал. Мне было жаль его, но колесо страсти и гордыни непрерывно вращалось во мне и не позволяло хотя бы на мгновение почувствовать раскаяние. Что же это было, что заставляло меня так наслаждаться своим гневом? Как только я на какое-то мгновение забывал о предполагаемой обиде, которую нанёс мне ямабуши, я тут же словно плеткой подхлестывал свой искусственный гнев. Ведь он совершил только то, что от него ожидали, и то, на что я молчаливо согласился; более того, я сам лишил его возможности сделать для меня больше ради моей же собственной безопасности. Если бы я только поверил бонзе, человеку, которого считал совершенно честным и надёжным. Может быть, это было сожаление о том, что моя гордость вынудила меня отказаться от предложенных предосторожностей, или страх раскаяния, который заставлял меня в те долгие часы выкапывать и собирать в кучу малейшие подробности предполагаемых оскорблений, которые были нанесены моей самоубийственной гордыне? Раскаяние, как правильно отметил один старый поэт, похоже на сердце, в котором они рождаются:

...когда в душе печаль и гордость,  
Оно, как и анчар, стрелой пронзённый,  
Лишь кровью плачет...

Возможно, страх перед чем-то подобным стал причиной моего упрямства и, бросая мне вызов, позволил простить себе ничем не спровоцированные оскорбления, которыми я осыпал моего доброго и всепрощающего друга бонзу. Однако было уже поздно, и вернуть свои слова я уже не мог, поэтому мне пришлось удовлетвориться лишь тем, что я пообещал себе послать ему дружеское письмо, как только доберусь до дома. Глупцом, слепым глупцом, вдохновленным собственным наглым самодовольством, вот кем я был! Я был настолько уверен, что моё видение — результат какого-то трюка ямабуши, что уже злорадно предвкушал, с каким торжеством я напишу бонзе о том, что вполне справедливо отвечал на его горькие слова прощания презрительной усмешкой, так как и моя сестра, и её семья были здоровы и счастливы!

Но я не пробыл в море и недели, когда случилось нечто такое, что заставило меня невольно вспомнить их! С самого дня описанных мною событий видения (в зеркале) я стал замечать в себе большую перемену, как нравственно, так и физически, но постоянно приписывал её сильному беспокойству, повлиявшему на моё здоровье и нервную систему. Часто, среди многолюдного общества пассажиров, даже днём, неожиданно и безо всякой к тому причины я внезапно терял на несколько минут сознание об окружающих меня особах и о том, где я находился, и видел себя в других, незнакомых мне местах. Ночи я проводил спокойно, а когда засыпал, то являющиеся мне сновидения были тяжёлые, часто перемешанные с ужасными сценами. Моряком я был хорошим, в том смысле, что не знал, что такое морская болезнь, да к тому же и наше путешествие выдалось необычайным в этом отношении: во всё время погода стояла чудесная, а море было глаже всякого пруда. Несмотря на это, со мной часто происходили странные головокружения, и в такие минуты знакомые мне физиономии пассажиров принимали

самые безобразные и смешные выражения и даже преобразовывались (в моих глазах) совсем в другие лица. Так, один хорошо знакомый со мною юный немец вдруг превратился передо мною в своего отца, похороненного нами три года до того на маленьком кладбище европейской колонии в Киото. Мы разговаривали с ним стоя у борта, на палубе, о делах его покойного родителя, когда вдруг голова Макса Грюннера показалась мне покрытой точно беловатой плевою, а сам он — окружённым густым сероватым туманом, который, как бы оклеив его наружно с ног до головы каким-то прозрачным веществом и покрыв все черты его здорового, цветущего лица словно слепком, вдруг сгустился и преобразовался в старую, желтовато-бледную голову, похороненную на моих глазах. В другой раз я увидел возле капитана, рассказывавшего нам историю одного пойманного им и засаженного в тюрьму малайца, вора и убийцу, жёлтое, безобразное лицо, в котором я мысленно признал последнего. Я никогда не говорил о подобных галлюцинациях: по мере того как они учащались, я чувствовал себя очень встревоженным, хотя и продолжал относить их к вычитанным мною в медицинских книгах естественным причинам.

В одну ночь я был внезапно разбужен громким и пронзительным криком: то был женский голос, жалобный, как у ребенка, полный ужаса и беспомощного отчаяния. Я проснулся и тут же очутился в незнакомой мне комнате, на суше, и свидетелем следующей омерзительной сцены. Молодая девушка, почти ещё ребенок, отчаянно боролась с сильным мужчиной средних лет, проникшим ночью с недобрым намерением в её комнату во время её глубокого сна. За запертою — на ключ — дверью, я заметил прислушивающуюся старуху, лицо которой, невзирая на его тогда искажённое, почти демоническое выражение, показалось мне знакомым: то была еврейка из моего видения в Киото! Я тотчас узнал и её, и её самые затаённые мысли. Она получила много золота за помощь в совершении ужаснейшего преступления и теперь оставалась верной своей роли в этой драме разврата. Но кто же жертва? Проклятие!.. Невообразимый ужас!.. Только позднее, придя в себя, в паровой каюте, я сообразил тотчас же, что это была моя родная племянница, девочка-сирота, и что я приеду слишком поздно!

Но, как и в первом моём видении, глядя на страшную разыгранную передо мною сцену, я ничего не чувствовал: ни отчаяния, ни сострадания, ни даже простой жалости или отвращения. В такие минуты во мне замирало всякое родственное чувство при виде несправедливости и причиняемого любимым мною особам страдания, замирало всё, кроме естественного и столь знакомого всякому честному человеку чувства негодования, овладевающего им, когда он делается свидетелем злоупотребления грубой силой в отношении слабого, беззащитного существа. Я бросился, конечно, к ней на помощь и вцепился в горло распутному, грубому животному.

Я стиснул его шею как в тисках, но, к моему неописуемому изумлению, он, казалось, и не заметил моего нападения, не чувствовал моей сильной руки, даже не обратил на меня внимания! Низкий преступник, видя как бьётся, сопротивляясь ему, его невинная жертва, поднял в бешенстве свой мощный кулак и одним ударом, направленным в золотокудрую головку, он поверг бедного окровавленного ребенка на землю. С громким криком негодования, с рычанием защищающей детеныша тигрицы я прыгнул на него, стараясь задушить его. Но тут только, и впервые, я осознал с чувством незнакомом мне дотоле страха, что я был только тенью, старавшейся схватить другую, такую же тень!

Мои пронзительные крики и проклятия разбудили всех пассажиров. Их отнесли к кошмару. Я не старался разубедить их, не повторял никому своих странных видений, но с того самого дня моя жизнь сделалась одним длинным рядом нравственных пыток. Я почти не мог закрыть глаз без того, чтобы не сделаться свидетелем какого-нибудь ужасного события, той или другой сцены страдания, смерти или преступления — в прошлом ли, совершённого в минуту видения, или даже будущего, — как я убедился по проверке позднее. Точно какой насмешливый демон

задался целью вынуждать меня проходить через длинный ряд панорам всего самого порочного, омерзительного, преступного и грешного в этом мире слёз и страданий. Никогда светлый призрак красоты или добродетели не освещал малейшим лучом своим эти картины горя и мучений, в которых я казался обречённым быть невольным свидетелем. Сцены преступления, смертоубийства, измены и разврата проходили нескончаемой ужасной вереницею в моих видениях, сопровождаемые слышным одному мне хохотом демонов, и я был принужден проводить жизнь лицом к лицу с самыми отвратительными результатами грубых людских страстей, с эссенцией самой материальной земной похоти человека.

Неужели бонза действительно предвидел эти самые страшные последствия, когда он так настаивал на «очищении», говорил о дайдж-дзинах, которым вследствие моего упрямства я оставлял «отпертую в себя дверь»? Бредни!.. Не верю!.. Во мне просто происходит какая-нибудь физиологическая перемена, аномальный беспорядок нервов. Может дома, в Нюренберге, когда я смогу убедиться, какое фальшивое направление приняли мои опасения, — я уже не смел надеяться на отсутствие всякого несчастья, — эти бессмысленные видения исчезнут так же быстро, как они и явились. Лучшим для меня доказательством служит то, что моя фантазия следует постоянно по одному направлению: я вижу одни картины горя и земных страстей в их худшей, самой грубо-материальной форме.

«Если, как вы говорите, человек состоит из одного вещества — материи, основы физических чувств; а его представления с видоизменениями есть просто результат органического устройства нашего мозга, то в таком случае мы должны весьма естественно быть привлекаемы к одному материальному, грубо вещественному, к земному?» — послышался мне во время одного такого рассуждения голос бонзы, прервавший мои размышления и повторявший часто употребляемый им в наших спорах аргумент.

Я вздрогнул, и тот же голос продолжал раздаваться внутри меня с ясностью, превышающей всякую действительность:

«Для человека существуют в природе два рода видений: в области неумирающей вечной любви и духовных стремлений, прямо истекающих из вечной лучезарности; и в области беспокойной, вечно изменяющейся материи, в вещественном свете, в которой так любят нежиться и шалить дайдж-дзины...»

## VII

### Вечность в кратком сновидении

В те дни я не допускал нелепости верования в каких-либо «духов» — хороших, дурных или посредственных. Но я понял значение слышанных мною слов, хотя всё ещё не верил в существование «духов», продолжая надеяться, что все такие «видения» окажутся подходящими под категорию физического расстройств, то есть просто нервной галлюцинации.

Чтобы подкрепить своё неверие, я постарался восстановить в памяти все аргументы, которые выдвигались против подобных суеверий. Я вспомнил острый сарказм Вольтера, спокойные рассуждения Юма и до тошноты повторял про себя слова Руссо о том, что «суеверие — это нарушитель общественного порядка и с ним нельзя не бороться всеми силами». «Каким образом видения или, скорее, фантазмагии, — приводил я доводы, — то, что в состоянии бодрствования мы находим лживым, вообще оказывают на нас воздействие?» Почему.

«Слова, где смысла нет,  
Пугают тем, чего на свете нет?»

Однажды старый капитан рассказывал нам о различных суевериях, которые бытуют среди моряков, и надутый английский миссионер заметил, что ещё Филдинг объявил: «Суеверия делают человека глупцом», после чего он на мгновение замялся и вдруг замолчал. Я не принимал участия в разговоре, но не успел почтенный миссионер произнести цитату, как я заметил в небольшом слабом сиянии мерцающего света, который я видел теперь почти постоянно над головой каждого пассажира, продолжение его мысли: «А скептицизм делает его сумасшедшим».

Я слышал и много читал о тех, кто объявляет себя ясновидящими, и о том, что они часто видят мысли людей нарисованными в ауре, которая их окружает. Что бы слово «аура» ни значило для других, теперь я на собственном опыте убедился в истинности этих претензий и почувствовал совершенное отвращение! Я — ясновидящий! В моей жизни появилась ещё одна ужасная вещь, ещё один глупый и смешной дар развился во мне, который придётся скрывать ото всех, поскольку я стыдился его, словно проказы. В этот самый момент моя ненависть к ямабуши и даже к моему почтенному другу бонзе стала непреодолимой. Первый, видимо, выполнил надо мной какие-то манипуляции, пока я лежал без сознания, и коснулся какой-то неизвестной физиологической пружины в моём мозгу. Она соскочила со своего места и теперь пробудила во мне способность, которая в обычном состоянии остается скрытой в человеческом организме, а мой друг сам привёл в дом это несчастье!

Но гнев и проклятия были бесполезны и вряд ли могли что-либо изменить. Кроме того, мы были уже в европейских водах и до Гамбурга оставалось всего несколько дней пути. Там все мои волнения и страхи улягутся, и я, к своему большому облегчению, узнаю, что хотя ясновидение как чтение мыслей человека, может быть, и существует, но познание событий на расстоянии, как это случилось в моём сновидении, невозможно для человека. Тем не менее, вопреки доводам разума, сердце моё переполняли страхи и самые чёрные предчувствия. Я понимал, что скоро свершится моя судьба. Я очень страдал, и душевное утомление возрастало с каждым днем.

В ночь перед нашим прибытием у меня был очередной сон. Я вообразил, что умер. Моё холодное и неподвижное тело лежало в последнем сне. Умиравшее сознание, которое до сих пор считало себя моим «я», поняло, что произошло, и готовилось через несколько секунд

прекратить своё существование. Я всегда верил, что мозг сохраняет тепло дольше остальных органов человеческого тела, что он последний прекращает функционировать, и мысль, таким образом, живёт на несколько секунд дольше человеческого тела. Поэтому я нисколько не был удивлён, увидев во сне, что моё тело уже перешло через ужасную реку и попало туда, «откуда ни один смертный ещё не возвращался», а сознание всё ещё оставалось в каких-то серых сумерках, первых тенях Великой Тайны. Таким образом, моя Мысль, всё ещё покоившаяся в моих останках, которые быстро теряли крупницы жизни, с сильным и горячим любопытством ожидала своего распада, то есть своего уничтожения. «Я» спешил испытать свои последние ощущения, пока тёмный плащ вечного забвения не накрыл меня, пока у меня было время чувствовать и наслаждаться тем великим высшим торжеством, которое давало мне знание того, что мои убеждения, которым я оставался верен всю мою жизнь, были истинными, и что смерть — это полное и абсолютное прекращение сознательного существования. Вокруг меня с каждым мгновением становилось всё темнее и темнее. Огромные серые тени проходили перед глазами. Сначала медленно, потом убыстряясь, они замелькали вокруг меня с головокружительной скоростью. Целью движения, казалось, было всего лишь достижение темноты, и как только цель была достигнута, движение замедлилось. Темнота превратилась в глубокую черноту, движение полностью прекратилось. Мои чувства не воспринимали ничего кроме этого бездонного чёрного пространства, тёмного, как смола. Оно казалось мне таким же безграничным и молчаливым, как безбрежный Океан Вечности, по которому Время, это порождение человеческого мозга, скользит, но никак не может его пересечь.

Катон определил сон как «образ наших надежд и страхов». В состоянии бодрствования я никогда не боялся смерти, и теперь во сне я спокойно и равнодушно отнёсся к мысли о своём скором конце. По правде говоря, эта мысль даже принесла мне облегчение, наверное, её вызвали пережитые мною недавно страдания. Конец всего, всех сомнений, страхов о судьбе тех, кого я любил, мысли об их страданиях, конец всем беспокойствам был близок. Постоянная боль, которая непрерывно терзала моё сердце в течение долгих и утомительных месяцев, сейчас становилась невыносимой. И если, как считает Сенека, смерть — это всего лишь «прекращение того, чем мы были перед этим», то было бы лучше, если бы я умер. Моё тело мертво. Его сознание — это всё, что от него остается. Ещё несколько мгновений — и я последую за ним. Восприятие моего сознания станет всё слабее, всё расплывчатее и туманнее, пока желанное забвение не накроет меня полностью своим холодным саваном. Нежна волшебная рука смерти — этого великого утешителя мира. Глубок сон в её неподатливых руках, его никогда не беспокоят сновидения. Да, действительно, смерть — желанный гость... Это спокойное, мирное убежище среди ревущих валов океана жизни, чьи крутые волны тщетно разбиваются о скалистые берега смерти. Счастлив тот, чей одинокий барк входит в спокойные воды её чёрного залива после долгого и жестокого шторма, после сердитых ударов внешней, чувственной жизни. Теперь, на вечной якорной стоянке, ему больше не понадобятся ни паруса, ни руль. И мой барк наконец-то обретёт покой. Так добро пожаловать, о Смерть, тем более за столь соблазнительную цену! Прощай, моё бедное тело. Хоть я и не пытался ни ублажать тебя, ни доставлять тебе наслаждения, и теперь с готовностью отдаю!..

С этим гимном, посвящённым смерти, который я спел над распростёртым телом, я наклонился над своими останками и с любопытством их рассмотрел. Я чувствовал, что окружающая темнота почти ощутимо давит меня, и я вообразил, что чувствую в её прикосновении приближение желанного Освободителя. И всё же как странно! Если реальная, окончательная смерть происходит в нашем сознании, если после телесной смерти «я» и моё сознательное восприятие соединяются воедино, почему же моё восприятие не слабеет, почему функции моего мозга кажутся столь активными, как и всегда?... Ведь я, существуя, умер?... И

теперь обычное чувство беспокойства не уменьшается, не слабеет, нет, даже более того, оно кажется сильнее!.. Как долго приходится ждать прихода полного забвения!.. А, вот оно, моё тело!.. На одну или две секунды оно исчезло из моего поля зрения, а потом сно-ва появилось... Какое оно белое и отвратительное! И всё же... его мозг ещё не совсем мёртв, если «я», его сознание, ещё действует, поскольку мы оба до сих пор воображаем, что существуем, что живём и думаем, отделённые от своего создателя и его мыслящих клеток.

Вдруг я почувствовал сильное желание узнать, как долго может продолжаться процесс распада мозга, когда, наконец, последняя печать смерти ляжет на мозг и прекратит его деятельность. Я осмотрел свой мозг в черепной коробке через прозрачные для меня стенки черепа и даже прикоснулся к мозговому веществу. Как я это сделал? Собственными ли руками или нет, я не могу сказать. В этом сновидении на меня очень сильное впечатление произвело ощущение скользкого, чрезвычайно холодного вещества. К моему великому ужасу, я обнаружил, что кровь полностью свернулась, и мозговые ткани настолько изменились, что в них вряд ли возможно какое-либо молекулярное взаимодействие, и теперь я уже не мог объяснить происходящее деятельностью мозга. И вот «я», или моё сознание, что одно и то же, обнаружил себя самого совершенно независимым, отдельным от своего мозга, который больше не мог действовать... Но у меня уже не было времени на размышления. В моих ощущениях произошло новое, необычайное изменение, которое теперь поглотило всё моё внимание... Что бы это значило?...

Вокруг меня простиралось прежнее чёрное непроницаемое пространство, но теперь прямо передо мной, всё время прямо передо мной, куда бы я ни поворачивался, оставались гигантские круглые часы, огромный диск которых зловеще сиял на чёрном эбоните непроницаемого пространства. Когда я посмотрел на этот огромный циферблат и на медленно качающийся маятник, каждое движение которого, казалось, делило вечность на отдельные куски, я увидел тонкие иглы стрелок, которые показывали семь минут шестого... «Это время начала моей пытки в Киото!» — едва успел я подумать о совпадении, как вдруг, к моему невообразимому ужасу, я почувствовал, что снова начинается тот же самый процесс, который мне пришлось испытать в тот памятный и страшный день. Я плыл под землей, быстро пронзая её чёрную массу, я снова увидел себя в могиле бедняка и узнал своего зятя в изуродованных останках. Я снова стал свидетелем его смерти, вошёл в дом моей сестры, проследил за её страданиями и увидел, как она сошла с ума. Я снова испытал всё это и увидел всё до мельчайших деталей, но увы! Мои чувства больше не сковывало спокойное равнодушие, то самое равнодушие, которое в момент первого моего видения оставило меня бесчувственным свидетелем величайшего несчастья, словно я был каменной статуей, у которой нет сердца.

Теперь мои душевные муки стали неопишуемы и почти невыносимы. Даже то привычное отчаяние и непрекращающееся беспокойство, которое я постоянно испытывал во время бодрствования, теперь в моём сновидении, когда передо мною снова и снова возникали увиденные события, показались мне лёгким облачком по сравнению со страшными свинцовыми тучами циклона. О, как я страдал среди этого роскошного пира адских мучений. Но теперь я уже не мог опереться на веру в то, что сознание человека умирает вместе с его телом, поскольку в этом видении я убедился в обратном. И это усилило страдания.

Я испытал относительное облегчение, вновь оказавшись после заключительной сцены видения перед огромными белыми часами. Но это продолжалось недолго, длинная заострённая стрелка на колоссальном циферблате показывала семь с половиной минут шестого. Не успел я как следует осознать произошедшее, как стрелка медленно двинулась назад и точно остановилась на седьмой минуте и... О моя проклятая судьба!.. Опять повторилась цепь мучительных видений! Я снова плыл под землёй и видел, слышал и испытывал все мучения ада!



Я прошёл сквозь всю душевную боль, которая только может быть известна человеку или дьяволу. Я снова вернулся к тому же самому месту перед циферблатом, после, казалось, вечных страданий, но стрелки на нём за это время, как и прежде, продвинулись только на полминуты. Я смотрел с ужасом, как они опять двинулись назад, и меня снова бросило в пространство. Это продолжалось снова и снова, раз за разом, так что стало казаться мне непрерывной чередой ужасных страданий, у которых не было начала и не предвиделось конца...

Но хуже всего было то, что моё сознание, моё «я», очевидно, приобрело способность утраиваться, учетверяться, даже удесятеряться. Я жил, чувствовал и страдал одновременно в полдюжине разных мест, переживая различные события своей жизни, которые происходили в разное время и при самых различных обстоятельствах, хотя по-прежнему главным оставался мой духовный опыт, полученный в Киото. Таким образом, как в знаменитой фуге «Дон Джованни» высокие душераздирающие ноты арии Эльвиры звучат намного выше всех остальных, но они не мешают развитию мелодии менуэта, песням соблазна и песням хора, так я снова и снова проходил через свои горести, переживая чувство невыразимой боли. Ужаснейшие сцены разворачивались перед моими глазами. Их повторение несколько не притупляло боли и страданий, и даже в последних моментах и событиях, совершенно не связанных с первыми, эти чувства не становились слабее, и я всё переживал заново, ни одно из событий не заслоняло другое. Это было безумное страдание! Цепочки похожих на контрапункт душевных фантазмагорий были взяты из реальной жизни. И вот, так же, как и в видении в Киото, я в течение тех самых тридцати секунд осматривал изуродованные останки мужа сестры, с тем же равнодушием видел ужасное воздействие вести о смерти, и в то же время я испытывал адские муки при виде каждого события, как и тогда в Киото, когда сознание вернулось ко мне. Я слушал философские беседы бонзы, слышал каждое слово, которое он произносил, и снова пытался злобно смеяться над ним. Я снова становился ребёнком, потом юношей, слышал сладостные голоса моей матери и сестры, которые упрекали меня, корили за проступки и учили долгу перед всеми людьми. Я снова спасал друга, который чуть было не утонул, и смеялся над его старым отцом, когда он благодарил за то, что я спас душу его сына, что была ещё не готова предстать перед Создателем.

— И вы говорите о двойном сознании? Вы, психофизиологи! — вскричал я в момент невыносимого душевного страдания, которое казалось одновременно и физическим, достигая такой силы, что могло бы убить дюжину живых людей. — Вы говорите о физиологических и психологических экспериментах, вы, школяры, надутые и битком набитые гордыней и книжными знаниями! Сейчас я вам покажу вашу лживость...

И вот я снова читал труды великих профессоров и лекторов, разговаривал с ними, с теми людьми, которые привели меня к фатальному скептицизму. И хотя я оспаривал возможность отделения сознания от мозга, я плакал кровавыми слезами над предполагаемой судьбой моих племянников и племянниц. Но самое ужасное было то, что я знал, как может знать только освобождённое от тела сознание, что всё то, что видел в Японии, и то, что я видел и слышал сейчас, было истинным в каждом мгновении и каждой подробности, что это была длинная цепочка отвратительных и ужасных, но всё же реальных фактов.

Наверное, в сотый раз мой взгляд был прикован к стрелкам часов.

Я успел потерять счет циклам постоянного перемещения в пространст-ве и возвращения к циферблату, и очень скоро пришёл к заключению, что они, эти возвращения, никогда не прекратятся, что сознание всё-таки невозможно разрушить, и что эти циклы, их бесконечное повторение будут моим наказанием в Вечности. Я начинал понимать на собственном опыте, как должен себя чувствовать осуждённый за грехи. «Разве вечное проклятие математически возможно в непрерывно развивающейся вселенной?» — я всё ещё находил силы спорить. Да, в

самом деле, в этот час всё усиливающегося страдания моё сознание, синоним моего «я», всё ещё было в силах восставать против некоторых претензий теологии, отрицать её утверждения, отрицать всё, кроме самого Себя... Нет, я больше не отрицал независимую природу моего сознания, поскольку убедился, что это так, но было ли оно вечно? О, непостижимая и страшная реальность! Если бы ты было вечным, кем бы ты было?! Тогда не было бы божества, не было Бога. Откуда ты пришло и когда появилось, если ты не было частью холодного тела, которое лежит теперь вот здесь, перед тобой, и куда ты привело меня, кто я теперь, и будет ли у нашей мысли и воображения конец? Каково твоё настоящее время? О, бездонная, неизмеримая Реальность! Непостижимая Тайна! О, я не могу уничтожить тебя... «Видения души». Кто тут говорит о душе, чей это голос?... Он утверждает теперь, что я во всём могу убедиться сам: у человека есть душа... Я отрицаю это. Моя душа, моя живая душа и дух жиз-ни покинули моё тело с его серым веществом мозга. Ещё никто не смог доказать, что это моё «я», это сознание вечно. Перевоплощение, о котором так беспокоился бонза, может, в конце концов, быть реальностью... А почему бы и нет? Разве цветок не появляется каждый год заново из того же корня? Так же и это «я», отделившись от мозга и потеряв равновесие, продлило все эти видения... перевоплощением...

Я снова оказываюсь перед неумолимым фатальным циферблатом, и вот, глядя на медленное движение его стрелок, я слышу голос бонзы, который доходит до меня из глубины белого циферблата. Он говорит: «Боюсь, что в этом случае вам придётся только открывать и закрывать дверь снова и снова, и как бы долго или коротко это ни продолжалось, вам это время покажется вечностью...»

Часы исчезли, темноту сменил свет, и голос моего старого друга утонул во множестве голосов, доносившихся с палубы. Я проснулся на своей койке в холодном поту. От страха у меня закружилась голова.

Мы прибыли в Гамбург, и я, повидавшись со своими партнёрами по фирме, которые с трудом узнали меня, получил их согласие и добрые пожелания и отправился в Нюрнберг.

Я был обманут в своих ожиданиях, обречён на жестокое разочарование! Тотчас по приезде в Нюрнберг я поехал по адресу в дом сестры и нашёл его запертым, отдающимся внаймы; а час спустя, у бургомистра, мне пришлось убедиться и в действительности виденной мною страшной трагедии, со всеми её душераздирающими подробностями! Мой зять истерзан в куски стальными зубцами лесопильной машины; моя сестра, неизлечимо помешанная, — в богадельне и уже быстро приближается к своему концу; племянница — нежный цветок, «природы лучшее произведение», — обесчещенная, в притоне разврата; меньшие дети, отданные городскими властями в сиротский приют для нищих, умерли один за другим в пять месяцев жертвами страшной детской эпидемии; мой племянник, наконец, единственный переживший младших братьев и сестёр — где-то в море, никто не знал, наверное, где! Целое семейство — обитель мира и взаимной любви, — рассеяно по лицу земли, одни умерли, другие близки к смерти! А я — я теперь на свете один, свидетель этому целому миру смерти, бесчестия и полного разрушения!

Получив известие, подтвердившее таким образом истину моего видения, я впал в безграничное отчаяние, сломился, как подкошенный сноп, перед этим рядом поражающих меня разом, словно громом, событий; удар оказался слишком сильным, и я упал в глубокий обморок. Теря сознание, я ещё успел расслышать и понять произнесённые бургомистром слова: «Если бы вы только телеграфировали вовремя городским властям до вашего отъезда из Киото о том, где вы пребываете и о вашем возвращении и намерении взять на себя попечение о ваших племянниках и сестре, мы могли бы тогда распорядиться иначе и спасти их от постигшей участи. Никто не знал, что у детей есть дядя с хорошим состоянием. Они остались в полном значении слова нищими; их родные только что переехали в Нюрнберг, где их никто не знал, и по смерти отца, не успев узнать ничего от помешавшейся матери, с ними было поступлено по закону, как поступили бы в любом другом городе; да при таких обстоятельствах вам и трудно было бы ожидать чего-то иного... Мне остаётся только глубоко сожалеть о случившемся, а вам — о том, что вы не телеграфировали вовремя».

Он был прав, и это именно и убивало меня. Мысль о том, что если бы я тогда послушал и поступил по дружескому совету бонзы Тамуры, то мог бы, по крайней мере, спасти от бесчестия мою несчастную племянницу; что телеграфируй я за несколько недель до отъезда, я спас бы тем, пожалуй, и меньших детей, — эта мысль, в соединении с фактом, что с этой минуты мне становилось невозможным сомневаться долее в действительности ясновидения и оккультизма, — возможность которых я так долго, так упорно отрицал, — всё это, вместе взятое, обрушившись на меня разом, сломило меня, как гнилой тростник. Я мог избежать порицания ближних, но я не мог скрыться нигде от упрёков собственной совести, от приговора моего наболевшего, навеки разбитого сердца — нигде, никогда, никогда!.. Я проклинал своё безумное упрямство, мой скептицизм, отрицание самых очевидных фактов, моё раннее атеистическое воспитание. Словом, я проклинал себя, а затем и весь окружающий меня мир!

В продолжение нескольких дней благодаря только одной силе воли я успел не поддаться быстро овладевающему мною недугу. Если я не свалился тотчас же под бременем поразившего меня несчастья, то это только благодаря тому, что мне следовало сперва исполнить священный мой долг в отношении живых и мёртвых. Но как только я взял из больницы для нищих сестру и

отдал её на попечение одного из лучших медиков Нюрнберга, вырвал племянницу из её вертепа и поселил с умирающей матерью ухаживать за нею; а сознавшуюся в преступлении еврейку засадил в тюрьму, — то в тот же день поддерживающая меня до того сила воли и твёрдость мгновенно оставили меня... Не прошло и недели по моём возвращении, как я уж лежал, сам не лучше помешанного, в бреду белой горячки, в смиренной рубашке, день и ночь изрыгая проклятия на дайдж-дзинов и судьбу. В продолжение многих недель я боролся со смертью; страшный недуг не поддавался усилиям лучших докторов. Наконец моё сильное сложение победило болезнь, и я был спасён.

Я узнал об этом с облившимся кровью сердцем. Приговорённый нести ярмо жизни впредь один, потеряв всякую надежду на помощь или даже облегчение моей участи на земле, я всё-таки продолжал упорно отрицать возможность другой, лучшей жизни за гробом, подобное неожиданное возвращение к жизни только прибавило одну лишнюю каплю горечи к моему безотрадному положению. Не нашёл я облегчения и в том, что не успел встать с одра болезни, как в первые же дни те же неприветливые, нежеланные видения, действительность и значение которых я не мог более отрицать, вернулись ко мне с удвоенной силой. Увы! Мне не являлось более даже возможным взирать на них теперь с прежним слепым упорством, как

...на чад горячечного мозга,  
Рождённых суевьем и фантазией...

Так, как и всегда, они являлись верной фотографией горестей и страдания моих близких, часто лучших моих друзей... Таким образом я нашёл себя обречённым на пытку и беспомощное состояние прикованного к скале Прометея, осуждённым, как только я оставался один, видеть страдания двух дорогих для меня существ. В безмятежные для других продолжительные зимние ночи, словно увлекаемый железной, безжалостной рукою, я чувствовал себя, как только закрывал глаза, мгновенно переносимым к смертному одру несчастной сестры. Я был вынужден наблюдать в продолжение иногда целых часов за медленным процессом постепенного разрушения её слабого, истощённого организма, видеть и чувствовать страдания, которые её покинутый светлым разумом мозг не в состоянии был уже ни отсвечивать, ни передавать её телесным чувствам. Но что было ещё тяжелей и ужаснее, так это то, что я должен был смотреть на невинное детское личико моей племянницы, столь трогательно простой и безгрешной в её невольном осквернении; видеть, как полное сознание и воспоминание о своём бесчестии, о своей юной навеки погибшей жизни терзали каждую ночь её сны — для меня принимавшие объективный образ, как на пароходе. Так приходилось мне переживать одну ночь за другой те же страшные муки. Потому что теперь, когда я окончательно уверовал в действительность ясновидения и пришёл раз и навсегда к убеждению, что в нашем теле лежит скрытая, как в гусенице, куколка, способная содержать в себе в свою очередь бабочку — прелестный древнегреческий символ души, — я уже не оставался, как бывало прежде, равнодушным к таким видениям во время их самого явления. Что-то такое разом развилось, выросло во мне, оторвавшись от своей ледяной куколочки; и теперь ни единое бессознательное ощущение страдания в истощённом теле моей умирающей сестры, ни единый вопль или содрогание ужаса в беспокойных, полных душевной муки снах племянницы при воспоминании о совершённом над нею, невинным ребёнком, преступлении, не проходило для меня даром, но каждое из них, напротив, пробуждало теперь ответный отголосок в моём обливающимся кровью сердце. Глубокий поток сочувственной любви и горя, залил это смертное сердце, вышел из берегов и громко клокотал теперь ответным эхом во впервые пробуждённой во мне душе. А эта душа

словно покидала меня, отделялась каждую ночь и странствовала независимо от своего тела... То были невыразимо ужасные дневные и ночные терзания! О, как сожалел я тогда о своём безумном, слепом высокомерии! Как горько раскаивался, как страшно я был наказан за свой оскорбительный отзыв о ямабузи, за отказ подвергнуться предлагаемому им очищению. Воистину я стал подвластен дайдж-дзину; и демон, как оказывалось, травил теперь свою жертву постоянно, направив на неё всех псов разверзнувшегося для неё ада.

Наконец бедная безумная женщина перешла за давно зияющую перед ней тёмную пропасть, и мученица успокоилась в лоне смерти. Тихо и безмолвно она канула в вечность, заснула непробудным сном в своей тёмной могиле, а через несколько месяцев за нею последовала и мученица-дочь. Чахотка скоро сделала своё дело с этим слабым, почти ещё детским организмом. Не прошло после моего приезда из Японии и года, как я остался один в целом мире. Даже мой дорогой далеко странствующий племянник, место пребывания которого мне удалось наконец узнать, — единственный оставшийся в живых родственник — изъявил письменно желание остаться при заменившем ему отца шкипере и следовать избранной им для него профессии. То был последний для меня удар.

Да, я остался на свете один, живой развалиной прежнего, и выходя в тридцать лет шестидесятилетним стариком. Видения не прекращались, и я продолжал делаться невольным свидетелем греха и преступлений, пока, наконец, на самом краю помешательства, я внезапно решился на отчаянный шаг. «Я вернусь в Киото и пойду к ямабузи. Я брошусь к ногам святого, оскорбленного мною старца, и не подымусь, пока он не простит меня, не отзовёт и не укротит созданного моим высокомерным неверием, но всё же пробужденного им самим Франкенштейна, демона, с которым я, по моей слепоте и гордости, не пожелал тогда расстаться!..» — отчаянно воскликнул я.

Три месяца спустя я был снова дома, в Японии. Отыскав моего старого почтенного друга бонзу Тамуру Хидейхери, я умолял его повести меня тотчас же к ямабузи, невольному виновнику моих ежедневных терзаний. Его ответ удесятирил моё отчаяние: святой отшельник покинул свою родину; никто не мог наверное сказать, для каких стран. Он распрощался с братией в одно прекрасное утро с намерением отправиться на богомолье вглубь страны и, следуя обычаю, не мог вернуться, — ес-ли только смерть не сократит периода — ранее семи лет!

Я обратился за помощью и покровительством к другим ямабузи; но ни один не мог обещать наверное совладать с демоном, вызванным другим, отсутствующим адептом, или даже укротить этого беса ясновидения. «Тот, кто пробудил дайдж-дзина, должен снова и усыпить его, — говорили мне они все, — особенно если он принадлежит к разряду тех духов, которые вопрошаются о прошлом или будущем. Но мы сделаем всё, что можем».

С добрым сочувствием, которое я теперь научился ценить, святые люди пригласили меня присоединиться к группе их учеников и узнать вместе с ними, что я могу сделать. «Только воля, только вера в ваши собственные душевные силы могут помочь вам теперь, — сказали они. — Потребуется несколько лет для того, чтобы исправить хотя бы часть содеянного. Дайдж-дзина легко изгнать в самом начале, если же его оставить один на один с человеком, он овладевает всем его существом, и тогда уже невозможно избавиться от злого духа, не убив при этом его жертву».

Убедившись, что иного пути для меня не остаётся, я с благодарностью согласился остаться среди учеников и старался изо всех сил верить в то, во что верили эти святые люди, и всё же в душе мне это никогда не удавалось. Демон неверия и отрицания, казалось, пустил в моей душе ещё более крепкие корни, чем дайдж-дзин. Но я делал всё, что мог, решив не упускать последнего шанса на спасение. Поэтому я решил без всяких задержек освободиться от мирских и коммерческих обязанностей, чтобы несколько лет прожить независимой жизнью. Я уладил все

расчеты со свои-ми гамбургскими партнёрами и порвал связи с фирмой. Несмотря на значительные финансовые потери, вызванные столь скорой ликвидацией дел, я обнаружил, подведя итог, что я гораздо богаче, чем думал. Но богатство больше не привлекало меня, поскольку теперь мне не с кем было его делить и не для кого было работать. Жизнь стала обузой. Я с равнодушием относился к своему будущему и был настолько равнодушен ко всему, что когда передавал состояние племяннику, не оставил бы себе даже маленькой суммы, если бы мой японский партнер не вмешался и не заставил меня сделать это. Теперь я, как и последователи Лао-цзы, признавал, что только знания могут дать человеку твёрдую и надёжную опору, поскольку это единственное, что не может быть разрушено никаким ураганом. Богатство — слабое пристанище в дни печали, а самодовольство — самый опасный советчик. Поэтому я последовал совету своих друзей и отложил себе скромную сумму, обеспечивающую мне достаточный доход в течение всей моей жизни на тот случай, если я когда-нибудь оставлю своих новых друзей и учителей. Итак, уладив свои земные счета и распорядившись своим имуществом в Киото, я присоединился к «владыкам дальнего видения», которые взяли меня в свои таинственные жилища. Я оставался с ними в течение нескольких лет, изучая в одиночестве их науки и ни с кем не встречаясь, кроме нескольких членов их религиозной общины.

Таким образом облегчённый, но далеко не совсем излеченный, я мог только научиться заклинать нежеланные видения, в лучших случаях — разом прекращать их. Но я не в состоянии до сего дня отвязаться от них бесследно, и они всё ещё часто мучат меня. Я научился многим тайнам природы из секретных фолиантов обширной библиотеки храма Тэо-Нене и получил власть над несколькими родами невидимых существ нижнего разряда духов. Но великая тайна владычества над ужасными дайдж-дзинами остаётся пока в руках одних посвящённых адептов, последователей Лао-цзы и отшельников ямабузи. Надо сделаться одним из них, дабы достичь такого могущества; а меня нашли неспособным к этому вследствие многих неодолимых причин, хотя я делал всё, что мог, и трудился над этим долгие годы.

Только удостоверившись в своей неспособности занять высокое положение независимовидящего члена ордена, я неохотно оставил дальнейшие попытки овладеть дайдж-дзином. О святом человеке, который невинно стал первопричиной моего несчастья, никто ничего не слышал, бонза, время от времени посещавший меня в моём убежище, не мог или не хотел сообщить мне местонахождение ямабуши. Поэтому, когда мне пришлось оставить надежду на полное освобождение от моего трагического дара, я решил вернуться в Европу и поселиться в одиночестве. С этой целью я приобрёл с помощью моих бывших партнёров швейцарский домик, в котором родились моя несчастная сестра и я и где я вырос. Именно этот дом я выбрал для своего будущего уединения.

Прощаясь со мной на борту парохода, который должен был отвезти меня на родину, добрый старый бонза пытался утешить меня.

— Сын мой, — сказал он, — считайте, что всё произошедшее с вами — ваша карма, справедливое возмездие.

Никто из тех, кто раз находился — по своей ли или вследствие чужой воли, добровольно или иначе — во власти дайдж-дзина, не может надеяться сделаться настоящим ямабузи. В самом благоприятном случае он успеваает только научиться отражать его нападения и с успехом бороться с ним. Подобно шраму, оставленному по излечении ядовитой раны, следы дайдж-дзина никогда не могут быть совершенно изглажены из нашего внутреннего «я», доколе его не изменит и совершенно не переделает новое воплощение.

Поэтому не поддавайтесь отчаянию. Бодритесь, ваше горе привело вас к истинному знанию, заставило признать многие истины, которые вы в противном случае наверняка бы отвергли с презрением. И этого бесценного знания, приобретённого благодаря вашим собственным

усилиям и страданиям, никакой дайдж-дзин не может вас лишить. Прощайте же, и пусть Матерь Милосердия великая небесная владычица дарует вам покой и защиту.

Мы расстались, и с тех пор я веду жизнь отшельника: живу в полном одиночестве и постоянно занимаюсь исследованиями. Хотя по-прежнему меня время от времени тревожат видения, я не жалею о годах, проведенных под руководством ямабуши, и искренне благодарен за знания, которые получил от них. И я всегда вспоминаю с искренней любовью и уважением бонзу Тамуру Хидейхери. Я регулярно переписывался с ним до самой его смерти и стал невольным свидетелем этого события и всех его тяжёлых для меня подробностей в тот самый день и час, когда оно произошло за далекими морями, — честь, за которую я не могу благодарить свою судьбу."

# Может ли двойник убить?

Одним роковым утром 1867 года Восточная Европа была потрясена ужасной новостью. Михаил Обренович, правящий князь Сербии, его тётя, княгиня Екатерина, или Катинка, и её дочь были убиты среди бела дня неподалёку от Белграда, в своём собственном саду, причём убийца или убийцы остались неизвестны. Князь получил несколько пулевых ранений и ударов ножом, так что его тело было фактически искромсано; княгиня была убита на месте, голова её разбита; а дочь, всё ещё живая, имела мало шансов выжить. Обстоятельства слишком шокирующие, чтобы быть забытыми, а в той части света сей случай вызвал невероятное возбуждение.

В австрийских владениях и на территориях под условным протекторатом Турции ни одно благородное семейство не чувствовало себя в безопасности. В этих полувосточных странах каждый Монтеки имеет своего Капулетти, и ходили слухи, что кровавое деяние было совершено князем Карагеоргиевичем, или Черногеоргиевичем, как его называют в тех краях. Несколько лиц, не замешанных в деле, как водится в таких случаях, были брошены за решетку, а истинные убийцы избежали правосудия. Юного родственника жертвы, горячо любимой своим народом, сущего ребенка, забрали в связи с этим из школы в Париже, со всеми церемониями привезли в Белград и провозгласили господарем Сербии. В суматохе политической лихорадки трагедия Белграда была забыта всеми, кроме одной старой сербской дамы, преданной семье Обреновичей и неспособной успокоиться, подобно Рашели, после смерти своих детей. После провозглашения господарем юного Обреновича, племянника убитого, она распродала своё имущество и исчезла, но перед этим на могилах жертв принесла торжественную клятву отомстить за их смерть.

Пищущая сию подлинную историю месяца за три до совершения этого злодеяния провела в Белграде несколько дней и знала княгиню Катинку. Дома это было милое, деликатное и праздное создание, за границей же по манерам и образованности её принимали за парижанку. Поскольку почти все действующие лица настоящей истории ещё живы, будет уместно не оглашать их действительные имена и привести только инициалы.

Пожилая дама из Сербии редко покидала свой дом, и лишь для того, чтобы время от времени встречаться с княгиней. Откинувшись на груду подушек и ковров, облачённая в живописное национальное платье, она выглядела Кумской Сивиллой во дни её покойного отдохновения. О её оккультном знании шёпотом рассказывали странные истории, и время от времени среди постояльцев, собиравшихся вокруг камина скромной гостиницы, распространялись захватывающие предположения. Кузину незамужней тётки тучного хозяина нашей гостиницы одно время мучил блуждающий вампир. Ночной посетитель обескровил её почти до смерти, в то время как старания и экзорцизм приходского священника не увенчались успехом, но жертву с легкостью освободила госпожа П., заставившая докучливого гостя улететь, всего-навсего пригрозив ему пальчиком и пристыдив на его собственном языке.

Именно в Белграде я впервые узнала этот интереснейший филологический факт, а именно, что привидения имеют свой собственный язык. За пожилой дамой, которую я буду называть госпожой П., обычно ухаживал другой персонаж, которому суждено было сыграть в нашей ужасной истории главную роль. Это была юная цыганская девочка из какой-то области Румынии, лет примерно четырнадцати. Где она родилась, какого происхождения была, она знала не лучше, чем кто-либо другой. Мне сказали, что однажды группа кочующих цыган принесла её и оставила во дворе старой дамы, и с того момента она стала обительницей дома. У неё было прозвище «спящая девочка», ибо говорили, что ей свойственна способность, где бы



она ни была, явно погружаться в забытьё и вслух проговаривать свои сны. Языческое имя девочки было Фрося.

Примерно через восемнадцать месяцев после того, как известие об убийстве достигло меня в Италии, я путешествовала в своём маленьком фургончике по Банату, беря в наём лошадей по мере надобности. В пути я повстречала пожилого француза, учёного, путешествовавшего, как и я, в одиночку, с той лишь разницей, что в то время как он шёл пешком, я озидала дорогу с своего трона из сухой соломы в тряском фургоне. Одним чудесным утром я обнаружила его в дикой местности, заросшей кустарником и цветами, и чуть было не наехала на него, поглощённого, как и я, созерцанием великолепия окружающего пейзажа. Знакомство вскоре состоялось, причём нам не понадобилось сложной церемонии взаимных представлений. Я слышала упоминание его имени от интересующихся месмеризмом и знала его как выдающегося адепта школы Дюпоте.

— Я нашёл, — заметил он в ходе разговора, после того как я упростила его разделить со мной сиденье из соломы, — одну из самых удивительных личностей в этой прелестной Тебейде. Сегодня вечером я встречаюсь с неким семейством. Они пытаются разгадать тайну убийства, используя ясновидение девочки... Она удивительна.

— Кто же она? — спросила я.

— Румынская цыганка. Оказывается, она выросла в семье правящего князя, который больше не правит, ибо был убит при весьма таинственных обстояте... О, осторожно! Чёрт возьми, вы опрокинете нас в пропасть! — торопливо воскликнул он, бесцеремонно выхватывая у меня поводья и натягивая их.

— Вы имеете в виду князя Обреновича? — спросила я ошеломлённо.

— Да, именно его. Сегодня вечером я буду там, чтобы завершить серию сеансов благодаря полному развитию самого удивительного проявления скрытой силы человеческого духа, и вы можете пойти со мной. Я представлю вас, и кроме того, вы можете помочь мне как переводчик, поскольку они не говорят по-французски.

Поскольку я была совершенно уверена, что если сомнамбулой являлась Фрося, то остальной частью семейства должна была стать госпожа П., я охотно приняла приглашение. На закате мы достигли подножия гор, направляясь к старому замку, как француз назвал это место. Оно бесспорно заслужило это романтическое название. В глубине одного из тенистых уголков стояла грубая скамья, и когда мы остановились у входа в это поэтическое место, а француз галантно занялся лошадьми на весьма подозрительно выглядевшем мостике, ведущем через водоём к входным воротам, я увидела высокую фигуру, медленно поднимающуюся со скамьи и направляющуюся к нам.

Это была моя старая знакомая госпожа П., выглядевшая ещё более бледно и таинственно, чем обычно. Увидев меня, она не выразила удивления, а просто поприветствовала по-сербски, трижды расцеловав в обе щеки, взяла за руку и провела прямо к увитому плющом гнезду. В прислонившейся спиной к стене женщине, полулежавшей на маленьком коврикe, разостланном на высокой траве, я узнала нашу Фросю.

Она была одета в национальный костюм валахских женщин с чем-то вроде газового тюрбана на голове, униженного разными позолоченными медальками и лентами; белую рубашку с открытыми рукавами и пёструю юбку. Она казалась мертвенно бледной, глаза её были закрыты, а лицо имело то каменное, сфинксоподобное выражение, которое служит специфическим, характерным признаком находящейся в трансe ясновидящей сомнамбулы. Если бы не дыхание её груди, украшенной рядами медалек и бисерных бус, слабо позвякивавших при движении, можно было бы подумать, что она мертва, — столь безжизненным и маскоподобным казалось её лицо.

Француз сообщил мне, что погрузил её в сон ещё тогда, когда мы только приближались к

дому, и что сейчас она в том же состоянии, в каком он оставил её прошлой ночью. Затем он начал заниматься «объектом», как он назвал Фросю. Больше не обращая внимания на нас, он потряс её руку, а потом, произведя несколько быстрых пассивов, вытянул её и сделал негнущейся. Рука, твёрдая как железо, осталась в этом положении. Затем он согнул все её пальцы, кроме одного — среднего, который направил на вечернюю звезду, мерцавшую на тёмно-синем небе. Затем он повернулся и стал перемещаться справа налево, посылая свои флюиды в одно место и разряжая их в другом, работая своими невидимыми, но сильными эманациями, как художник кистью, когда он делает последние штрихи на картине.

Старая дама, всё это время безмолвно следившая за ним, подпирая рукой подбородок, положила свои худые костлявые ладони на его руку и удержала её, когда он готовился начать регулярные месмерические пассы.

— Подождите, — прошептала она, — пока не взойдёт звезда и не сровняется девять часов. Вокруг вертятся вурдалаки, они могут испортить воздействие.

— Что она сказала? — переспросил месмеризатор, раздосадованный её вмешательством. Я объяснила ему, что пожилая дама опасалась пагубного влияния вурдалаков.

— Вурдалаки! Что за вурдалаки? — воскликнул француз. — Давайте довольствоваться христианскими духами, если сегодня ночью они удостоят нас визитом, и не будем терять времени на вурдалаков.

Я бросила взгляд на госпожу, она стала мертвенно бледной, и брови её сурово сдвинулись над сверкающими глазами.

— Скажите ему, что нельзя шутить в этот час ночи, — вскричала она, — он не знает этой местности. Даже святая церковь не сможет защитить нас, если будут разбужены вурдалаки. Что это? — подвинула она ногой пучок трав, который ботанизирующий месмеризатор положил на траву рядом. Она наклонилась над коллекцией и с тревогой стала рассматривать содержимое пучка, после чего целиком швырнула его в воду.

— Его нельзя оставлять здесь, — твёрдо добавила она, — это растения Святого Иоанна, и они могут привлечь привидения.

Между тем опустилась ночь, и луна осветила ландшафт бледным, призрачным светом. Ночи в Банате почти так же прекрасны, как и на Востоке, и француз вынужден был продолжать свои эксперименты на открытом воздухе, поскольку священник церкви запретил их в башне, использовавшейся как дом приходского священника, из боязни наполнить территорию вокруг здания еретическими дьяволами месмеризатора, которых, заметил священник, он был бы не в состоянии изгнать из-за того, что они были бы иностранцами.

Пожилой джентльмен сбросил свою походную блузу, закатал рукава рубахи и, наконец, замечательно театрально начал размеренный процесс месмеризации.

Действительно казалось, под его подрагивающими пальцами, что в сумерках вспыхивают флюиды. Фрося была посажена лицом к луне, и каждое движение вошедшей в транс девочки было видно, как днём. Через несколько минут крупные капли пота показались на её лбу и медленно покатались по бледному лицу, поблёскивая в лунных лучах. Затем она скованно пошевелилась и начала медленно напевать тихую мелодию, в слова которой госпожа жадно вслушивалась, с тревогой склонившись над бессознательной девушкой, стараясь уловить каждый звук. С тонким пальцем, прижатым к губам, глазами, готовыми выскочить из орбит, и неподвижным телом, почтенная дама, казалось, сама превратилась в статую внимания. Группа была замечательна, и я пожалела о том, что не являюсь художником. То, что последовало за этим, было сценой, достойной быть разыгранной в «Макбете». С одной стороны — она, худенькая девочка, бледная и будто неживая, корчащаяся под невидимым флюидом того, кто в этот час был её всемогущим господином; с другой стороны — пожилая матрона, снедаемая

неутолимой жаждой мести, стояла, ожидая, что вождевленное имя убийцы князя будет наконец произнесено. Сам француз выглядел преобразившимся, его серые волосы стояли дыбом, а грузное неуклюжее тело, казалось, выросло за несколько минут. Вся его театральность теперь исчезла, и остался только месмеризатор, сознающий свою ответственность, сам не знающий возможных результатов, изучающий и тревожно выжидающий. Будто поднятая сверхъестественной силой из своего полулежачего положения, Фрося внезапно встала прямо перед нами, вновь неподвижная и безмолвная, ожидающая направляющего магнетического флюида. Француз спокойно взял руку пожилой дамы и вложил её в руку сомнамбулы, приказав той вступить в контакт с госпожой.

— Что ты видишь, дочь моя? — мягко проговорила дама из Сербии. — Может ли твой дух отыскать убийц?

— Ищи и наблюдай! — строго скомандовал месмеризатор, фиксируя свой взгляд на лице объекта.

— Я в пути — я иду, — слабо прошептала Фрося, и голос её, казалось, исходил не от неё, но из окружающего пространства.

В этот момент случилось нечто столь странное, что я вряд ли буду в состоянии описать это. Появилось светящееся облако, плотно окутывающее тело девочки. Бывшее сначала около дюйма толщиной, оно постепенно увеличивалось и собиралось, пока совсем не отделилось от тела и не сконденсировалось в нечто вроде полупрозрачного пара, который очень скоро приобрёл подобие самой сомнамбулы. Мерцая над поверхностью земли, форма колебалась в течение двух или трёх секунд, а затем заскользила по направлению к реке. Она исчезла, подобно туману, растворившемуся в лунных лучах, которые, казалось, вобрали её всю.

Я следила за происходящим с напряжённым вниманием. Таинственная операция, известная на Востоке под названием «скин-лечки», происходила непосредственно на моих собственных глазах. Сомневаться было невозможно, и Дюпотте был прав, говоря, что месмеризм является осознанной магией древних, а спиритуализм — неосознанным результатом воздействия той же самой магии на некоторые организмы.

Как только паробразный двойник просочился сквозь поры девочки, госпожа быстрым движением свободной руки вытащила из-под мантильи нечто, на мой взгляд, подозрительно напоминавшее маленький стилет, и быстро положила его девочке за пазуху. Движение было столь быстрым, что месмеризатор, поглощённый своей работой, не заметил его, как он сказал мне потом. Несколько минут прошло в мёртвой тишине. Мы напоминали группу окаменевших фигур. Внезапно вибрирующий пронзительный крик вырвался из уст находившейся в трансе девочки, она подалась вперёд и, схватив со своей груди стилет, несколько раз неистово пронзила воздух вокруг себя, как бы преследуя воображаемых врагов. На губах её выступила пена, и с уст сорвалось бессвязное дикое восклицание, среди диссонировавших звуков которого я несколько раз расслышала два знакомых мне мужских имени. Месмеризатор был настолько испуган, что потерял всякий контроль над собой и вместо того, чтобы отбирать флюид, всё больше добавлял его девочке.

— Осторожно! — воскликнула я. — Остановитесь! Вы убьёте её или она убьёт вас!

Но француз, не желая того, разбудил тонкие силы Природы, над которыми был невластен. Повернувшись, в неистовстве, девочка нанесла ему удар, который мог бы убить его, если бы он не отпрыгнул в сторону, получив лишь небольшую царапину на правой руке. Бедный джентльмен был в панике; взобравшись на стену с проворством, исключительным для человека столь тучного сложения, он уселся верхом на ней и, собрав всю свою силу воли, послал в направлении девочки серию пассивов. Буквально через секунду девушка уронила оружие и осталась неподвижной.

— Что ты делаешь? — хрипло крикнул по-французски месмеризатор, восседающий на стене подобно чудовищному ночному гоблину. — Отвечай, я приказываю тебе!

— Я сделала... лишь то, что она... которой вы приказали мне повиноваться... повелела мне сделать, — ответила девочка, к моему изумлению, по-французски.

— Что же эта старая ведьма велела тебе? — грубо спросил он.

— Найти их... которые убили... убить их... я сделала так... их больше нет... Отмщены! Отмщены! Они...

Триумфальный вопль, оглушительный крик адского торжества прозвучал в воздухе и, поскольку он разбудил собак в ближайших деревнях, в тот же момент начался ответный вой и лай, подобно непрекращающемуся эху крика госпожи:

— Я отмщена! Я чувствую это; я знаю это. Моё чуткое сердце говорит мне, что врагов моих больше нет. — Тяжело дыша, она рухнула на землю, в своём падении увлекая за собой девочку, позволившую уронить себя, как мешок шерсти.

— Надеюсь, мой объект сегодня вечером не натворит больше зла.

Она — личность столь же опасная, сколь и удивительная, — вымолвил француз.

Мы расстались. Три дня спустя после того как я была в Т., сидя в столовой ресторана и ожидая свой ленч, я случайно взяла в руки газету и в первых строках прочла следующее:

Вена, 186...

### *«Две таинственные смерти»*

«Вчера вечером в 21.45, когда П. собирался удалиться, двое камергеров внезапно проявили великий страх, как если бы они увидели ужасный призрак. Они кричали, шатались, бегали по комнате, поднимали руки, как бы отражая удары невидимого оружия. Они не обращали внимания на нетерпеливые вопросы князя и свиты, но вскоре в корчах упали на пол и скончались в ужасных муках. На их телах не было ни признаков паралича, ни внешних ранений, однако, что удивительно, на них были многочисленные тёмные пятна и длинные полосы на коже, похожие на удары и порезы холодным оружием, но без нарушения кожных покровов. Вскрытие обнаружило тот факт, что под каждым из этих таинственных пятен был сгусток свернувшейся крови. Сие происшествие привело всех в величайшее возбуждение; власти не в состоянии разгадать эту тайну.»

# Неразгаданная тайна

Кажется, обстоятельства, сопутствовавшие внезапной смерти господина Делессера, инспектора службы безопасности, произвели такое впечатление на парижские власти, что были записаны особенно подробно. Опуская все частности, кроме тех, что необходимы для объяснения сути дела, мы приведём здесь эту несомненно странную историю.

На исходе 1861 года в Париж приехал человек, назвавший себя Вик де Ласса, что и было обозначено в его паспорте. Он прибыл из Вены и говорил, что является венгром, владеет имением на границе Баната, недалеко от Зенты. Это был некрупный мужчина, лет тридцати пяти, с бледным и загадочным лицом, длинными светлыми волосами, отсутствующим, блуждающим взглядом и необычайно жёстким ртом. Одевался он небрежно и не броско, говорил и изъяснялся без особой выразительности. Его спутница, предположительно жена, на десять лет младше его, напротив, была потрясающе красивой женщиной, того тёмного, богатого, бархатистого, ароматного, чисто венгерского типа, столь сильно похожего на цыганскую породу. В театрах, в лесу, в кафе, на бульварах, и везде, где развлекается праздный Париж, Эмэ де Ласса привлекала большое внимание и производила сенсацию.

Они снимали роскошные апартаменты на Рю Ришелье, часто посещали лучшие места, принимали хорошее общество, принимали красиво и во всём держались так, как будто обладали значительным состоянием. Ласса всегда имели хорошее сальдо у Шнайдера, Рюте и Си, австрийских банкиров на Рю Риволи, и носили бриллианты, обращавшие на себя внимание своим блеском.

Как же получилось, что префект полиции счёл возможным подозревать господина и госпожу де Ласса и назначил Поля Делессера, одного из самых ловких инспекторов полиции, «выманить» их? Дело в том, что значительный мужчина с блестящей женой был очень загадочной личностью, а полиция имеет обычай воображать, что за таинственностью всегда скрывается либо заговорщик, либо авантюрист, либо шарлатан. Заключение, к которому пришёл префект относительно господина де Ласса было таково, что тот является авантюристом, а также шарлатаном. Только несомненно удачливым, ибо всегда был исключительно скромнен и никогда не трубил о чудесах, совершать которые было его призванием, ведь через несколько недель после того, как он обосновался в Париже, салон господина де Ласса стал предметом всеобщего увлечения, и число людей, плативших 100 франков в качестве гонорара за один-единственный взгляд сквозь магический кристалл и одно-единственное послание по его магическому телеграфу, было поистине поразительным. Секрет тут был в том, что господин де Ласса являлся чародеем и обманщиком, чья претенциозность была всеведущей, а предсказания всегда оказывались верными.

Делессеру не составило труда быть представленным и допущенным в салон де Ласса. Приёмы проводились через день — по два часа утром, по три часа вечером. Был вечер, когда инспектор Делессер прибег к помощи вымышленного персонажа, господина Флабри, знатока драгоценных камней и новообращённого спиритуалиста. Он обнаружил красивые, ярко освещённые кабинеты и очаровательное собрание всем довольных гостей, которые, казалось, пришли вовсе не для того, чтобы узнать свои судьбы, заодно внося свой вклад в доходы хозяина, а скорее из уважения к его достоинствам и дарованиям.

Мадам де Ласса играла на фортепиано или переходила от одной группы гостей к другой в манере, казавшейся восхитительной, тогда как господин де Ласса прохаживался или садился в своей ничего не выражающей, отрешённой манере, время от времени говоря что-нибудь, но, казалось, избегая всего могущего броситься в глаза. Слуги разносили закуски, мороженое,

крепкие напитки, вина и т. п., и Делессер легко мог представить себе, что попал на весьма скромную вечеринку, в общем ничем не примечательную, кроме двух существенных обстоятельств, которые быстро заметил его наметанный глаз.

Если хозяина или хозяйки не было в пределах слышимости, гости говорили друг с другом понижая голос, весьма таинственно и смеялись не так много, как обычно в таких случаях. Время от времени очень высокий лакей подходил к гостю и с глубоким поклоном вручал ему карточку на серебряном подносе. Затем гость выходил, следуя за торжественным слугой, но когда он или она возвращались обратно в салон (а некоторые совсем не возвращались), то неизменно имели изумлённый и озадаченный вид, были смущены, удивлены, испуганы или возбуждены. Эти чувства, несомненно, выглядели искренними, и де Ласса и его жена, казалось, настолько не были заняты всем этим, что Делессер не мог не быть поражён и изрядно удивлён.

Двух или трёх маленьких эпизодов, произошедших непосредственно на глазах у Делессера, будет достаточно, чтобы пояснить характер впечатления, производимого на присутствующих. Двое джентльменов, молодых, высокого общественного положения и, повидимому, очень близких друзей, беседовали и частенько «тыкали» друг другу, когда величавый лакей вызвал Альфонса. Они весело рассмеялись.

— Подожди минутку, дорогой Огюст, — сказал он, — и ты узнаешь все подробности его необыкновенного везения!

— Прекрасно!

Не прошло и минуты, как Альфонс возвратился в гостиную. Лицо его было белым и имело выражение неистовой ярости, свидетельствовавшей о чём-то ужасном. Он прошёл прямо к Огюсту, причём глаза его сверкали и, наклонившись к своему другу, изменившемуся в лице и отпрянувшему, он прошипел:

— Мсье Лефевюр, вы подлец!

— Очень хорошо, мсье Менье, — ответил Огюст так же тихо, — завтра утром в шесть часов!

— Решено, мнимый друг, мерзкий предатель!.. Насмерть! — добавил, удалясь, Альфонс.

— Разумеется! — пробормотал Огюст, направляясь в прихожую.

Выдающийся дипломат, представитель соседнего государства в Париже, пожилой господин с большим апломбом и самой внушительной наружностью, был вызван поклонившимся лакеем к оракулу. После пятиминутного отсутствия он вернулся и немедленно направился сквозь толпу гостей к господину де Ласса, стоявшему недалеко от камина, держа руки в карманах, с выражением крайнего безразличия на лице. Делессер, стоявший рядом, наблюдал беседу с жадным интересом.

— Я чрезвычайно сожалею, — сказал генерал фон..., — что вынужден так рано покинуть ваш салон, мсье де Ласса, но результат этого сеанса убеждает меня, что в деле замешаны мои экспедиторы.

— Сожалею, — ответил господин де Ласса с выражением вялого, но вежливого интереса. — Я надеюсь, вы сможете выяснить, кто из ваших служащих был нечестен.

— Я собираюсь сейчас же заняться этим, — сказал генерал, добавив значительным тоном: — Я прослежу за тем, чтобы он и его сообщники не избежали сурового наказания.

— Это именно то направление, которому нужно следовать, мсье ле Кант.

Посол внимательно посмотрел на него, раскланялся и отбыл в смущении, которое при всём своём такте не в силах был контролировать.

По ходу вечера мсье де Ласса небрежно подошёл к фортепиано и после безразлично-неопределённого вступления сыграл необыкновенно впечатляющее музыкальное произведение, в котором буйство и жизнерадостность вакхических мелодий мягко, почти незаметно превращалось во всхлипывающее стенание и сожаления, свойственные и усталости, и скуке, и

разочарованию. Оно было хорошо исполнено и произвело глубочайшее впечатление на гостей, и одна из дам воскликнула:

— Как прекрасно, как печально! Вы сами сочинили это, мсье Ласса?

Мгновение он смотрел в её сторону отсутствующим взглядом, затем ответил:

— Я? О, нет! Это просто реминисценция, мадам.

— Но вы знаете, кто написал его, мсье де Ласса? — поинтересовался присутствующий музыкант.

— Я думаю, что первоначально оно было написано Птолемеем Аулетом, отцом Клеопатры, — произнёс мсье де Ласса в своей бесстрастной манере, — но не в его теперешнем виде. Насколько я знаю, оно было дважды переписано; однако мелодия в основном та же.

— Позвольте узнать, от кого вы слышали её? — настойчиво расспрашивал джентльмен.

— Конечно, конечно. Последний раз, когда я её слышал, играл Себастьян Бах, но это был вариант Палестрина — теперешний. Мне больше нравится вариант Гвидо из Ареццо — он более резкий, но обладает большей силой. Я слышал мелодию от самого Гвидо.

— Вы — от — Гвидо? — вскричал изумлённый джентльмен.

— Да, мсье, — ответил де Ласса, вставая из-за фортепьяно со своим обычным безразличным выражением лица.

— Боже мой! — воскликнул музыкант, хватаясь рукой за сердце, как это делал м-р Твемлоу. — Боже мой! Это было в 1022 году нашей эры!

— Нет, несколько позже — в июле 1031, если я правильно помню, — вежливо поправил мсье де Ласса.

В этот момент высокий лакей склонился перед мсье Делессером и протянул ему поднос с карточкой. Делессер взял её и прочёл:

— В вашем распоряжении тридцать пять секунд.

Делессер последовал за ним; лакей открыл дверь в соседнюю комнату и снова поклонился, давая понять, что Делессеру следует войти.

— Ни о чём не спрашивайте. — сказал он коротко, — С'иди нем.

Делессер вошёл в комнату, и дверь за ним закрылась. Это была маленькая комнатка, с наполняющим её сильным запахом ладана, стены были полностью затянуты красными портьерами, скрывавшими окна, а пол был покрыт толстым ковром. Напротив двери в возвышенной части комнаты почти под потолком находился циферблат больших часов, под ним, освещённые высокими восковыми свечами, стояли два небольших столика, на одном помещался инструмент, весьма походивший на всем знакомый регистрирующий телеграфный аппарат, на другом — хрустальный шар, приблизительно двенадцати дюймов в диаметре, установленный на богато отделанном треножнике из золота и бронзы. Рядом с дверью стоял мужчина, чёрный как смоль, одетый в белый тюрбан и бурнус, в одной руке державший что-то вроде серебряного жезла. Другой рукой он взял Делессера повыше локтя и быстро провёл его в комнату. Он коснулся часов, и они пробили, он дотронулся до хрусталя, Делессер склонился над ним и — увидел изображение своей собственной спальни, воспроизведённое с фотографической точностью. С'иди не дал ему времени на выражения чувств, но, всё ещё держа его за руку, повлёк к другому столу. Телеграфоподобный инструмент начал щёлкать. С'иди открыл выдвижной ящик, вынул оттуда длинную узкую полосу бумаги, вложил её в руку Делессера и коснулся часов, которые пробили вновь. Прошло тридцать пять секунд. С'иди, всё ещё державший Делессера за руку, указал на дверь и повёл его к ней. Дверь открылась, С'иди подтолкнул его наружу, дверь закрылась, рядом с ней, склонившись, стоял высокий лакей — беседа с Оракулом закончилась. Делессер взглянул на бумагу в своей руке. На ней был текст, напечатанный заглавными буквами, и он прочёл: «Мсье Полю Делессеру: полицейскому всегда рады, шпион всегда в опасности!»

Делессер был ошарашен, узнав, что его хитрость была разгадана, но слова высокого лакея: — Сюда, пожалуйста, мсье Флабри, — привели его в чувство.

Сжав зубы он вернулся в гостиную и сразу нашёл мсье де Ласса.

— Знаете ли вы содержание этого? — спросил он, показывая послание.

— Я знаю всё, мсье Делессер, — ответил де Ласса в своей небрежной манере.

— В таком случае вы, наверное, осведомлены о том, что я собираюсь разоблачить шарлатана, сорвать маску с ханжи или погибнуть в борьбе? — сказал Делессер.

— Мне это безразлично, мсье, — ответил де Ласса.

— Значит, вы принимаете мой вызов?

— О, значит, это вызов? — произнёс де Ласса, на мгновение остановив свой взгляд на Делессере. — Да, конечно, я принимаю!

После этого Делессер удалился.

Теперь он привёл в действие все силы, которыми может воспользоваться префект полиции, чтобы обнаружить и разоблачить этого непревзойдённого чародея, который будет пользоваться самыми грубыми движениями души наших предков, разжигая их. Настойчивое выяснение убедило Делессера в том, что чародей не был венгром и не носил имя де Ласса. Что вне зависимости от того, сколь далеко могут простираться его «реминисценции», в его подлинном и непосредственном виде в этом несовершенном мире он был известен в городе Нюрембурге, где делают игрушки, и с юношеских лет прославился своими выдающимися способностями к изготовлению остроумных вещичек, но был очень диким и несносным человеком.

В шестнадцать лет он бежал в Женеву и поступил в ученье к мастеру по часам и приборам. Здесь его увидел знаменитый фокусник Роберт Хоудин. Хоудин распознал таланты юноши, и будучи сам мастером забавных приспособлений, взял его в Париж и принял в свою собственную мастерскую, а также сделал ассистентом в публичных представлениях своей развлекательной и искусной чертовщины. Пробыв несколько лет у Хоудина, Флок Хазлих (таково было настоящее имя де Ласса) в костюме турецкого паши отправился на Восток и после многолетних странствий в краях, где его путь скрывается облаком псевдонимов, наконец прибыл в Венецию, а оттуда — в Париж.

Затем Делессер обратил своё внимание на мадам де Ласса. Гораздо труднее было найти ключ, которым можно было бы раскрыть её прошлую жизнь, но это было необходимо, чтобы лучше понять Хазлиха. Наконец, благодаря счастливому случаю, он предположил, что мадам Эмэ — то же самое лицо, что и некая мадам Шлаф, бывшая весьма известной в полусвете Буды. Делессер отправил послание в этот древний город, а вскоре отбыл в дебри Трансильвании, в Менгиго. По возвращении, едва добравшись до телеграфа и цивилизации, он телеграфировал префекту из Карцага: «Не спускайте глаз с моего человека, не выпускайте его из Парижа. Я арестую его для вас и посажу в тюрьму через два дня после своего возвращения».

Случилось так, что в день приезда Делессера в Париж префект отсутствовал, будучи с императором в Шербуре. Он вернулся на четвёртый день, как раз через двадцать четыре часа после сообщения о смерти Делессера. Насколько известно, произошло это следующим образом. Вечером, после своего возвращения, Делессер был в салоне де Ласса с билетом допуска на сеанс. Он был тщательно загримирован под дряхлого старика и полагал, что никто не сможет его узнать. Тем не менее, когда его пригласили в комнату и он заглянул в кристалл, он был в величайшем потрясении от ужаса при виде себя самого, лежащего вниз лицом и без чувств на тротуаре улицы; а послание, полученное на этот раз, гласило следующее: «То, что ты видел, Делессер, случится в течение трёх дней. Готовься!» Детектив, невыразимо потрясённый, сразу ушёл из этого дома и осмотрел свои комнаты.

Наутро он явился на службу в состоянии крайней подавленности.



Он был совершенно лишён присутствия духа. Сообщая коллеге-инспектору о том, что случилось, он сказал: «Этот человек может сделать то, что обещает, я приговорён!»

Он сказал, что считает себя в состоянии полностью доказать свою правоту относительно Хазлиха, он же де Ласса, но не может это сделать, не повидав префекта и не получив предписания. Нет, он ничего не станет рассказывать относительно своих открытий в Буде и Трансильвании, — он просто не волен поступить так, — и снова воскликнул:

— О, если бы только здесь был господин префект!

Ему посоветовали поехать к префекту в Шербур, но он отказался на том основании, что его присутствие необходимо в Париже. То и дело он повторял, что обречён, его поведение было нерешительным и колеблющимся, он был крайне нервозен. Ему говорили, что он в полной безопасности, поскольку де Ласса и все его домочадцы находятся под постоянным наблюдением, на что он отвечал:

— Вы не знаете этого человека.

Для сопровождения Делессера был назначен инспектор, чтобы день и ночь не спускать с него глаз и тщательно оберегать его; были предприняты необходимые предосторожности в связи с его едой и питьём; тогда как наряд, наблюдавший за де Ласса, был удвоен.

На третий день утром Делессер, который большую часть времени находился в помещении, заявил о своём решении немедленно пойти и телеграфировать господину префекту, чтобы тот возвращался немедленно. С этим намерением он и его коллега-офицер вышли из дома. Как только они дошли до угла улицы де Ланери и Бульвара, Делессер внезапно остановился и поднёс руку ко лбу.

— Боже мой! — воскликнул он. — Хрусталь! Картинка! — и упал ничком, потеряв сознание.

Его сразу же отвезли в больницу, но этим лишь на несколько часов отдалили конец, так и не вернув ему сознание. По специальному указанию властей, самое тщательное, подробное и полное вскрытие тела Делессера было проведено несколькими видными хирургами, давшими единодушное заключение, что причиной смерти является апоплексический удар вследствие усталости и нервного возбуждения.

Как только Делессер был отправлен в больницу, его коллега-инспектор поспешил в Центральное Управление, и де Ласса вместе со своей женой и всеми лицами, связанными с его заведением, были немедленно арестованы. Когда его арестовывали, де Ласса презрительно улыбался:

— Я знал, что вы идёте; я приготовился к этому; вы будете счастливы снова освободить меня.

И действительно, де Ласса приготовился к их приходу. Когда дом обыскали, было обнаружено, что все бумаги сожжены, хрустальный шар уничтожен, а в комнате для сеансов возвышалась огромная куча обломков тонкого механизма, разбитого на мельчайшие обломки.

— Вот это стоило мне 200 000 франков, — сказал де Ласса, указывая на груды, — но было хорошим капиталовложением.

В стенах и полу в некоторых местах были выбоины, и ущерб собственности был весьма существенный. В тюрьме ни де Ласса, ни его сообщники не раскрыли тайну. Подозрение, что они имели какое-либо отношение к смерти Делессера с юридической точки зрения быстро рассеялось, и все, кроме самого де Ласса, были освобождены. Его самого то под одним, то под другим предлогом удерживали в тюрьме, пока однажды утром он не был обнаружен висящим на шёлковом поясе на карнизе комнаты, в которой был заключён, — мёртвым. Как выяснилось позднее, предшествующей этому событию ночью мадам де Ласса исчезла вместе с высоким лакеем, захватив с собой нубийца С'иди.

Тайна де Ласса умерла вместе с ним.

# Сияющий щит

Наша маленькая избранная компания представляла собой группу беззаботных путешественников. За неделю до этого мы приехали в Константинополь из Греции и с тех пор по четырнадцать часов каждый день ходили вверх и вниз по крутым склонам Перы, посещали базары, забирались на крыши минаретов и пробивались через полчища голодных собак, этих вековых повелителей улиц Стамбула. Кочевая жизнь заразительна, как говорят, и никакая цивилизованность не способна разрушить очарование неограниченной свободы после того, как вы её вкусите. Цыгана нельзя заставить покинуть его шатёр, и даже обычный бродяга находит особое наслаждение в своей тяжёлой неустроенной жизни, наслаждение, которое мешает ему найти постоянное жильё и занятие. Поэтому во время пребывания в Стамбуле главной моей заботой было защитить моего любимца спаниеля Ральфа от этой инфекции и помешать ему присоединиться к бедуинам собачьего рода, которые, как тараканы, кишели на улицах. Ральф был хорошей собакой, он был моим постоянным спутником и другом. Я боялась потерять его и поэтому постоянно следила за ним. Однако первые три дня он вёл себя как вполне приличный, образованный пёс, всё время верно следуя за мной по пятам. Во время каждой наглой атаки со стороны своих мусульманских собратьев, независимо от того, было ли это демонстрацией враждебности или предложением дружбы, он каждый раз только поджимал хвост и с видом достойного смирения прятался за меня или за кого-либо из нашей компании.

Так как Ральф с самого начала проявил отвращение к случайным знакомствам, у меня появилась уверенность, что он будет вести себя прилично, и уже к концу третьего дня я совсем не так бдительно наблюдала за ним. Такая небрежность очень скоро, однако, была наказана, и мне пришлось пожалеть о своей доверчивости. В какой-то момент, когда я не смотрела на него, мой спаниель услышал зов четвероногой сирены, и последнее, что я увидела, это его пушистый хвост, когда он исчезал за углом кривого, узкого и грязного переулка.

Очень расстроившись, я провела весь остаток дня в тщетных поисках бессловесного спутника. Я предлагала и двадцать, и тридцать, и сорок франков в награду тому, кто найдет его. И вот порядка сорока бродячих мальтийцев устроили настоящую охоту за моим спаниелем, и вечером у отеля нас осадил целый отряд этих бродяг, причём у каждого из них в руках была дворняжка невероятного происхождения, которую он изо всех сил старался выдать за моего потерянного друга. И чем категоричнее я отрицала это, тем торжественней они клялись мне, что именно их пёс и есть мой спутник, а один из бродяг даже встал на колени, вытащил из-за пазухи старый, позеленевший образок с Мадонной и поклялся, что сама царица небесная указала ему на эту собаку. Шум усиливался, и стало ясно, что исчезновение моего спаниеля может стать причиной потасовки. В конце концов владелец отеля послал за полицией и весь этот полк двуногих и четвероногих существ был изгнан силой. Я стала всё больше убеждаться в том, что никогда не увижу свою собаку, слова портье гостиницы усилили моё горе. Этот человек, с внешностью благородного бандита, который, судя по всему, провёл на галерах каких-то пять-шесть лет, со всей серьёзностью уверял меня, что все мои усилия напрасны, так как спаниель мой, без сомнения, уже мёртв и съеден турецкими собаками, которые очень любят мясо своих более мирных и более упитанных английских собратьев.

Всё это происходило на улице, прямо перед отелем, и я уже было собралась отказаться от поисков, по крайней мере на ночь, и уйти в гостиницу, когда старая гречанка-фанариотка, которая слышала весь этот там-тарарам со своего крыльца неподалёку, подошла к моим безутешным друзьям и предложила одной из них, мисс Х., спросить дервишей о судьбе Ральфа.

— А что могут дервиши знать о моей собаке? — спросила я её, не имея ни малейшего

желания шутить, хотя предложение было явно смехотворным.

— Святые люди знают всё, кирея (госпожа), — ответила она немного таинственно. — На прошлой неделе у меня украли новую атласную мантилью, которую сын привёз мне из Бруссы, а сейчас, как видите, она на мне.

— В самом деле? Тогда эти святые, помимо всего прочего, превратили вашу новую мантилью в старую, — сказал один из джентльменов, которые нас сопровождали, показывая на большую дырку на спине мантильи, защиту большими неуклюжими стежками.

— А это и есть самое удивительное во всей истории, — тихо ответила ему фанариотка, нисколько не смущаясь. — Они показали мне в светящемся круге квартал, дом и даже комнату, где еврей, укравший мою мантилью, собирался распороть её и разрезать на кусочки. У моего сына и у меня едва хватило времени добежать до Калинджикулосека и спасти мантилью. Мы застали еврея в тот самый момент, когда он разрезал мантилью со спины, и тут же узнали в нём того самого человека, которого дервиши показали нам в своей магической луне. Он признался в краже и теперь сидит в тюрьме.

Хотя никто из нас не имел ни малейшего представления, что она имела в виду под магической луной и сияющим кругом, все мы были совершенно ошеломлены её рассказом о пронизательности «святых людей». Её манеры, однако, убедили нас, что этот рассказ не совсем выдумка. А поскольку она, во всяком случае, сумела как-то получить назад свою собственность, мы решили сами отправиться к дервишам следующим утром и узнать, не могут ли они и нам помочь.

Монотонные крики муэдзинов с вершин минаретов объявили о наступлении полдня, когда мы, спустившись с высот Перы к порту Галата, с трудом протискивались через грязные толпы торгового квартала города. Не успели мы добраться до порта, как нас уже наполовину оглушили крики и непрерывные пронзительные вопли, вавилонское столпотворение языков. В этой части города бессмысленно ориентироваться по номерам домов или названиям улиц. Местоположение нужного вам дома обычно определяется по близости к какому-либо более или менее заметному зданию, такому, как мечеть, баня или европейский магазин. В остальном же приходится полагаться на Аллаха и его Пророка.

Поэтому нам с огромным трудом удалось найти английский магазин корабельных принадлежностей, позади которого должно было находиться место, куда мы стремились попасть. Гид, взявшийся проводить нас от гостиницы, так же плохо знал дорогу туда, как и мы, но в конце концов маленький грек, одетый почти что в костюм нашего праотца Адама, согласился за небольшую медную монету отвести нас к танцующим дервишам.

Когда мы пришли, нас провели в просторный сумрачный зал, который походил на заброшенную конюшню. Зал был длинный и узкий, и пол его, как пол манежа, был покрыт толстым слоем песка. Единственным источником света были маленькие окна, расположенные довольно высоко от земли. Дервиши уже закончили своё утреннее представление и отдыхали от изнурительных трудов. Они выглядели совершенно измотанными, некоторые из них лежали у стен, другие сидели, сложив ноги и уставившись в пустоту, занятые, как нам сказали, медитацией, созерцанием своего невидимого божества. Казалось, они потеряли всякую способность видеть и слышать, так как никто из них не реагировал на наши вопросы, пока из дальнего угла не появилась худая фигура человека в большом тюрбане, из-за которого он казался необычайно высоким. Сообщив нам, что он — их глава, этот гигант дал нам понять, что святые братья обычно получают повеление о дополнительных обрядах от самого Аллаха, и поэтому их ни в коем случае нельзя беспокоить. Однако, когда переводчик объяснил ему цель нашего визита, которая касалась только его самого, поскольку он был единственным распорядителем «столпа прорицаний», он перестал возражать и протянул руку, требуя вознаграждения. Получив

требуемое, он сказал, что знание будущего можно доверить только двум людям одновременно. Потом он повернулся и повёл за собой мисс Х. и меня.

Мы нырнули вслед за ним в какой-то полуподземный коридор. По нему мы прошли к основанию высокой приставной лестницы, которая вела в комнату под крышей. Мы забрались по лестнице вслед за своим провожатым и оказались в жалкой мансарде средней величины, с голыми стенами, без всякой мебели. Пол был покрыт густым слоем пыли, со стен обильно свисали лохмотья старой паутины. В углу комнаты что-то лежало. Поначалу я приняла этот предмет за кучу тряпья, однако та скоро задвигалась, встала на ноги, вышла на середину комнаты и остановилась перед нами, оказавшись самым необычным существом, какое мне когда-либо приходилось видеть. Пол этого существа был явно женским, хотя решить, был ли это ребёнок или женщина, было невозможно. Она была отвратительным карликом с огромной головой, плечами гренадёра и соответствующей талией, однако это тело передвигалось на тоненьких, паучьих ножках, которые, казалось, физически были не в состоянии носить столь чудовищную тяжесть. На лице её кривилась усмешка сатира, щёки, лоб, подбородок были украшены надписями и знаками из Корана, нанесёнными ярко-жёлтой краской. На лбу сиял кроваво-красный полумесяц, на голове была пыльная феска, а на ногах — широкие турецкие шаровары, тело с трудом скрывал белый муслин. Это существо скорее упало, чем уселось посреди комнаты, и, когда её тело коснулось прогибающихся досок, поднялось целое облако пыли, и мы стали кашлять и чихать. Перед нами была знаменитая Татмос, известная также под именем Оракул Дамаска!

Не теряя времени на пустые разговоры, дервиш достал кусочек мела и провёл вокруг сидящей девушки круг диаметром около шести футов, затем, выгасив из-за двери двенадцать небольших медных ламп, он наполнил их какой-то тёмной жидкостью из маленького флакона, который достал из-за пазухи. После этого он расположил лампы симметрично вдоль магического круга. Потом он отцепил кусочек дерева от рамы полуразбитой двери, которая хранила следы множества подобных действий и, взяв большим и указательным пальцами щепу, начал дуть на неё через равные промежутки времени. Подув на неё немного, он начал шептать какие-то странные заклинания, потом снова дул и снова шептал заклинания до тех пор, пока вдруг без всякой видимой причины на щепе не появилась искра и кусочек дерева загорелся, как сухая спичка. Затем дервиш зажёл двенадцать ламп этим самовоспламенившимся огнём.

Всё это время Татмос сидела совершенно неподвижно, не проявляя никакого интереса к окружающему. Она сняла со своих босых ног жёлтые тапки и, бросив их в угол комнаты, показала нам свою гордость — по шестому пальцу на каждой скрюченной ноге. В этот момент дервиш вошёл в магический круг, схватил карлицу за лодыжки и дёрнул её, будто поднимал куль с зерном. Он поднял её за ноги головой вниз. Потом он отступил назад на один шаг и потряс её, как обычно трясут мешок для того, чтобы улеглось его содержимое, причём делал он это легко и ритмично. Затем он начал раскачивать её вправо и влево, как маятник, пока, набрав нужную скорость, он не отпустил одну ногу и, взявшись двумя руками за другую, мощным усилием начал раскручивать её в воздухе как индийскую дубинку.

Моя спутница в тревоге отступила в дальний конец комнаты.

Дервиш всё крутил и крутил живую «булаву». Она оставалась абсолютно пассивной. Скорость движения всё увеличивалась и увеличивалась, и вскоре глаз уже не успевал проследить за движением тела. Это продолжалось, пожалуй, около двух или трёх минут, пока жонглёр постепенно не замедлил движение и, остановившись наконец, не поставил девушку на колени в середину освещённого лампами круга. Таков восточный метод гипноза в том виде, в коем он практикуется дервишами.

Теперь карлица, казалось, была в глубоком трансе и полностью забыла обо всём

окружающем. Челюсть её отвисла, а голова опустилась на грудь, глаза остекленели и смотрели вперёд. Ничего не видя, она стала ещё более отвратительной, чем раньше. Тогда дервиш закрыл ставни единственного окна в комнате, и мы бы оказались в полной темноте, если бы в ставнях не было отверстия, через которое в комнату проникал яркий луч света, который падал на девушку. Дервиш поставил её так, чтобы луч солнца падал ей на темя, а потом, жестом попросив нас соблюдать тишину, он сложил руки на груди, уставился на яркую точку, которую образовывал солнечный луч на голове девушки, и замер, словно каменный идол. Я не отрываясь смотрела на пятно света и думала о том, что случится дальше и как этот странный обряд поможет мне найти Ральфа.

Постепенно яркое пятно стало как бы впитывать через тонкий луч яркий солнечный свет, падавший на дом снаружи. Яркое пятно накапливало этот свет и превращалось в ослепительную звезду, от которой, как из точки фокуса, в разные стороны исходили лучи.

Возник любопытный оптический эффект: комната, которая раньше освещалась солнечным лучом, стала темнеть, а звезда становилась всё ярче и ярче, и так до тех пор, пока мы не почувствовали, что находимся в полной темноте. Звезда замерцала, задрожала и повернулась, сначала медленно, как волчок, потом она завертелась всё быстрее и быстрее, и с каждым оборотом её размеры увеличивались до тех пор, пока она не превратилась в ослепительно яркий диск, за коим мы уже не могли разглядеть карлицу, которую, казалось, поглотило сияние этого диска. Постепенно набрав чрезвычайно высокую скорость вращения, как и девушка в руках дервиша, диск начал вращаться медленнее и медленнее, пока его вращение не стало напоминать слабое колебание, похожее на игру лунного света на речной ряби. Потом диск мигнул ещё раз, испустил несколько последних вспышек и стал плотным и сияющим, как дорогой опал, остановившись в неподвижности. Теперь диск сиял луноподобным светом, мягким и серебристым, но он, этот свет, не освещал мансарду, а, казалось, только усиливал темноту в ней. Края круга не были туманны, напротив, они были очерчены чётко, как края серебряного щита.

Теперь, когда всё было готово, дервиш, не говоря ни слова и не отрывая глаз от диска, нашёл в темноте мою руку и потянул меня к себе, показав на светящийся диск. Приглядевшись, мы увидели большие пятна, похожие на пятна на Луне, они постепенно превратились в фигуры людей, которые, подобно рельефу в натуральном цвете, стали двигаться на поверхности щита. Они не были похожи ни на фотографию, ни на гравюру, ещё меньше они походили на отражение в зеркале. Диск был похож на камю, и фигурки как бы выростали на его поверхности, а затем получали движение и жизнь. К моему удивлению и страху моей подруги, мы вдруг узнали мост из Галаты в Стамбул через Золотой Рог, который соединял Старый и Новый город. По мосту туда и сюда спешили люди, пароходы и весёлые турецкие лодки скользили по голубой глади Босфора, множество красивых зданий, вилл и дворцов отражались в воде, и всю картину освещало полуденное солнце. Вид этот проходил перед нашими глазами как панорама, но изображение было настолько ясным, что мы не могли понять, то ли мы сами движемся, то ли изображение движется перед нашими глазами. Перед нами бурлила жизнь, но ни единый звук не нарушал тяжёлой тишины. Картина была беззвучна, как сон. Это было призрачное видение. Улица за улицей и квартал за кварталом проходили перед нашими глазами: вот перед нами базар с его узкими рядами маленьких лавочек под навесами, вот кофейня с серьёзными, курящими кальяны турками, и, когда мы скользили мимо одной из кофеен, или она скользила мимо нас, один из курильщиков опрокинул кальян и кофе соседа, и нас немало позабавил поток беззвучных ругательств. И так мы путешествовали по городу, пока не оказались перед большим дворцом, в котором я узнала дворец министра финансов. В канаве, позади дворца, неподалёку от мечети, в луже грязи лежал всклокоченный бедняга Ральф! Тяжело дыша и распластавшись на земле, он казался измученным и умирающим. А вокруг него собрались довольно жалкого вида

дворняги, которые лежали на солнце, моргая, и ловили блох.

Я увидела то, что хотела, хотя не говорила дервишу ни слова о собаке, да и вообще пришла скорее из любопытства, не надеясь на успех. Мне не терпелось тут же пойти и получить Ральфа назад, но моя спутница попросила меня задержаться ненадолго, и я неохотно согласилась. Картина на диске исчезла, и мисс Х. заняла в свою очередь место рядом с дервишем.

— Я буду думать о Нём, — шепнула она мне на ухо тем горячим голосом, каким молодые леди обычно говорят о любимом человеке.

На диске появилась длинная полоса песчаного берега и голубое море с пляшущими барашками. По морю под ярким солнцем движется огромный пароход. Он идёт вдоль пустынного берега, оставляя за собой молочно-белый след. На его палубе кипит жизнь: на носу что-то делают матросы, внизу из люка появился кок в снежно-белых колпаке и переднике, то там, то здесь проходят морские офицеры в форме, пассажиры толпятся на шканцах, либо, сидя в складных креслах, флиртуют или читают, а молодой человек, которого мы обе узнаем, подходит к краю палубы и смотрит вдаль. Это Она.

У мисс Х. прерывается дыхание, она краснеет и улыбается, а потом снова сосредоточивается. Изображение парохода исчезает, на какое-то мгновение магическая луна остаётся пустой, потом на её сверкающей поверхности появляются новые пятна, и мы видим, как из её глубин появляется библиотека. Это большая библиотека с зелёными ковром и гардинами, по стенам всюду стоят книжные полки, а посередине в кресле за столом под висючей лампой сидит и пишет старый джентльмен. Его седые волосы зачёсаны назад, лицо чисто выбрито, оно выражает доброжелательность.

Быстрым движением дервиш потребовал тишины. Свет диска затрепетал, но потом снова ровно засиял, и на какую-то секунду его поверхность оставалась пустой. И вот мы опять видим Константинополь, но теперь из жемчужных глубин щита появляется наш собственный номер в гостинице, бумаги и книги разложены на бюро, дорожная шляпа моей подруги лежит в углу, а ленты висят на зеркале. На кровати лежит то самое платье, которое она сменила перед тем, как отправиться со мной сюда. Каждая деталь точно указывала на место, где мы провели ночь, словно кому-то было важно доказать, что увиденное нами — реальность, а не просто плод нашего воображения. И как последнее доказательство, на туалетном столике лежали два запечатанных письма, написанных почерком, который моя спутница сразу узнала. Они пришли от её родственника. Он был очень дорог ей, и она давно, ещё в Афинах, ждала от него вестей, но так и не дождалась. Картина исчезла, и мы увидели комнату её брата. Сам он лежал в кресле, а слуга мыл ему голову, с которой, к нашему ужасу, текла кровь. Час назад мы оставили паренька в полном здравии, и теперь, увидев такую картину, моя спутница испустила крик ужаса, схватила меня за руку и потащила к двери. Внизу, в длинной зале, мы присоединились к нашему провожатому с друзьями и поспешили обратно в гостиницу.

Молодой Х. упал с лестницы и довольно сильно рассёк лоб, в нашей комнате на туалетном столике действительно лежали письма, которые прибыли в наше отсутствие. Оба нам переслали из Афин. Заказав экипаж, я немедленно поехала к министерству финансов и там вместе с провожатым торопливо пошла к канаве, которую впервые в жизни увидела в сияющем диске. Там, посреди лужи, весь в грязи, всклокоченный, полумёртвый от голода, но всё ещё живой, лежал мой красавец спаниель Ральф, а вокруг него были те же самые моргающие дворняжки, которые равнодушно ловили зубами блох.

*Посвящается Н. А. Фадеевой*

Эта история записана по рассказу её непосредственного свидетеля, русского дворянина, очень набожного и совершенно надёжного человека. Более того, некоторые факты, упоминающиеся в ней, были выписаны из документов полиции городка П. Свидетель происшествия приписывает всё, что он видел, отчасти божественному вмешательству, отчасти козням дьявола. Комиссия из Петербурга расследовала все факты, связанные с происшествием, и приказала хранить молчание.

## *Странная, но правдивая история*

В одной из северных губерний — «не столь отдалённых» — Российской Империи, недалеко от небольшого заводского городка — пожалуй что и в Сибири — случилась лет тридцать — а может и все пятьдесят — тому назад, такая трагедия, какой не приснилось бы и древним классикам. Эдгар По создал бы из её сюжета одну из своих бессмертных сказок. Я же оставляю его просто тем, что он и есть, — былью. Вследствие этого в ней не найдётся ничего фиктивного, кроме имён. В Петербурге живы до сей поры родственники «Изверцовых»; следовательно, замена их фамилий другими имеет своё логическое *raison d'être*.

Теперь приступим к рассказу.



Вёрстах в шести или семи от города П., знаменитого дикой прелестью и величием его лесистых гор, богатством рудников, как и миллионерами заводчиками, стоял, как сказано, с полвека тому назад аристократический красивый дом. Его обитатели состояли из самого владельца, богатого пожилого холостяка, и его брата — вдовца и родителя двух сыновей и трёх дочерей. Всем было известно, что хозяин и владелец Озерков, или, как его звали, старик Изверцов, усыновил детей младшего брата, а старшего из них, своего любимца Николая, давно уже сделал законным и единственным наследником своего благоприобретённого и весьма значительного состояния.

Года мирно проходили в красивом загородном доме. Дядя старел, а племянник достигал совершеннолетия. Дни шли чередой в тихом однообразии, и солнце светило на дружную большую семью с высоты безоблачного неба, когда вдруг на небосклоне показалось в виде светлого пятнышка небольшое облачко. В один злосчастный день одной из племянниц старика Изверцова вздумалось учиться играть на цитре. Так как цитра — инструмент чисто тевтонского происхождения и учителей на ней ни в окрестностях, ни в городе П. не оказалось, то, желая побаловать племянницу, снисходительный дядюшка послал за обоими в Петербург. После долгих поисков даже в самой столице нашёлся только один учитель на цитре, готовый переехать в такое близкое соседство с Сибирью. То был старый саксонский профессор, артист, разделявший всю свою нежность, которой его одарила природа, между своим инструментом и хорошенькой блондинкой дочерью, не пожелавший расставаться ни с тем, ни с другою. Таким образом случилось, что в одно прекрасное зимнее утро старый профессор, с цитрой в футляре под одной рукою, и с хорошенькой Минхен под другою, явился у ворот Озерков и был принят с распростёртыми объятиями всем семейством Изверцовых.

С этого рокового дня светлое облачко стало быстро темнеть и увеличиваться, ибо — как говорили наши предки — каждый звук мелодичного инструмента будил ответное эхо в сердце старого холостяка. Музыка, говорят, располагает к любви; и вот, работа, начатая цитрой, была доведена до конца голубыми глазками Минхен. По окончании первого полугодия племянница сделалась артисткой на цитре, а дядя оказался до безумия влюблённым.

В одно весеннее утро, собрав усыновлённое им семейство брата вокруг себя, он обнял и расцеловал каждого из членов его поочерёдно с большою чувствительностью и слезами радости на глазах; обещал не забывать их в своём завещании и закончил всё объявлением своего неизменного решения жениться на голубоокой Минхен. После этого, в виде финального tableau телосложения. И тем не менее с ним случались весьма не, он упал каждому из них на шею и, пролив в немом восторге ещё несколько добавочных слёз, выпроводил их всех из своей комнаты и запер дверь. Родная семья, поняв, что наследство у неё ускользнёт из-под носу, также проливали слёзы, но, должно полагать, от другой причины.

Впрочем, поплакав, все более или менее утешились и даже старались искренно возрадоваться, потому что старика Изверцова не только родные, но и все чужие от души любили и уважали. Только не все возрадовались. Николай, сам влюблённый по уши в хорошенькую немку, утратив таким образом в один день и предмет сердца, и всё состояние дяди, не только не возрадовался, но даже не пожелал утешиться. Он исчез из дому и не возвращался до следующего утра.

Между тем Изверцов распорядился, чтобы на другое утро ему был приготовлен семейный дорожный дормез. В людской и в девичьей шептали, будто старый барин отправлялся в далёкий губернский город с целью изменить духовное завещание. Главная часть богатства Изверцова находилась в процентных бумагах, которым никто не знал счёта, так как старик всегда сам занимался своими делами и счётными книгами. В тот же вечер домашние слышали, как он после ужина распекал в кабинете своего камердинера, служившего ему более тридцати лет. Человек этот, по имени Иван, чрезвычайно привязанный к своему барину, вырос в семье и был крестником отца Изверцова.

Несколько дней спустя, когда первое действие рассказываемой мною трагедии, свершившись, наполнило дом жандармами и полицейскими чиновниками, следствие открыло, что в ту ночь Иван был пьян; что старый Изверцов, не терпевший этого порока, отеческим образом вздул его за это нагайкой и вытолкал вон и что Ивана видали в коридоре посылающим по направлению двери барского кабинета угрозы словом и даже кулаком.

На обширных землях дачи Изверцова, Озерки, находилась замечательная пещера, обращающая внимание всех, кто её посещал. Она существует и, до сего дня, и, вероятно, жители П., прочитав о ней, узнают её. Густой сосновый лес, начинавшийся почти у садовой калитки, расстилался, уходя в гору крутыми террасами до самого подножия длинного ряда скал с пещерами, венчающих острым гребнем вершину холма; а затем покрывал последний почти непроходимой лесной чащей, с невылазными в ней вдобавок болотами. Так как этот путь представлял большие неудобства, то желавшие посетить интересную пещеру отправлялись на верх горы иным путём. Почти на середине склона холма, на стороне, обращённой к задней части дачи, находился пространный грот, ведущий целым рядом подземных пещер на верх горы. Вход в него был в полуверсте, а по прямой линии — не более полсотни сажень от дома; так что с балкона легко было узнать всякого подходящего к гроту посетителя, тем более что лес был нарочно для этого вырублен кругом входа, а местность прочищена. В самой глубине довольно просторного и ещё светлого грота находится небольшой коридор, за которым открывается огромная высокая пещера, озаряемая слабым светом, проникающим через расщелины свода на высоте более 50 футов. Пещера так велика, что легко помещает в себе от 2 до 3 тысяч посетителей; часть её, вымощенная гранитными плитами и легко превращаемая в танцевальную залу, служила часто приманкой городским жителям для пикников и праздников. Неправильной овальной формы глубина пещеры, постепенно суживаясь, оканчивалась, как и первый грот, коридором. Коридор этот имел не несколько шагов длины, а уходил на огромное пространство в гору, прерываемый другими пещерами, столь же обширными, только менее проходимыми, нежели «танцевальная зала». Все, кроме первой, наполнены водою, и их можно было переезжать только на лодке. Эти природные бассейны пользовались репутацией бездонных колодцев и назывались обыкновенно Озерками — откуда и название самой дачи, а также и пещер. Но первая за гротом носила двойное и в обоих случаях подходящее к ней и весьма характерное название: в семействе Изверцовых её звали Пещерой Эхо, а в простонародье — Чёртовой Глоткой.

В ней тоже был бездонный колодезь, или озерцо. Но он находился в самой глубине её, тщательно окружённый каменным парапетом, на котором были устроены удобные высеченные из гранита сидения, и на безопасном расстоянии от вымощенного пола, а поэтому и от пляшущих, когда таковые являлись. С обеих сторон суживающегося овала в стенах были также устроены — иногда ярусами — сидения, из которых можно было смотреть как из лож на танцующих и прислушиваться к странному явлению, происходящему иногда в пещере.

В ней раздавалось эхо самого феноменального характера, пробуждаемое малейшими звуками, особенно со стороны бассейна, напротив коридоров. Произнесённого шёпотом слова, лёгкого вздоха было достаточно, чтобы на него сперва разом, а затем и один за другим откликнулось несчётное число насмешливых голосов, которые, вместо того чтобы постепенно делаться слабее и замирать вдали по обычаю всякого благонамеренного эхо, — с каждым новым повторением слова или звука становились всё громче и ужаснее, пока, достигнув своего *crescendo*, и, словно выпалив из пистолета, они удалялись, замирая в самой глубине коридоров, и, наконец, обрывались долгим, жалобным, неземным стоном...

В вечер того дня, когда старик Изверцов объявил о своём решении вступить в брак, за ужином он сообщил домашним о своём намерении дать в пещере в день своей свадьбы большой бал, и тут же назначил для этого один из ближайших дней. На следующее утро, готовясь к отъезду, многие видели, как, направляясь по дороге к гроту, он вошёл в него вместе с Иваном.

Полчаса спустя слуга вернулся домой за табакеркою, забытой барином в кабинете, и бегом побежал снова к пещере. А час спустя весь дом был поднят на ноги его дикими воплями. Бледный, дрожа как осиновый лист, и с водой, льющей с него целыми ручьями, Иван вбежал в гостиную, как безумный, и объявил господам, что его барина, оставленного им в первой пещере сидящим у парапета, не было нигде — ни в гроте, ни в коридорах. Страшась, не упал ли барин в воду, Иван, не снимая платья, нырнул в первый бассейн и чуть не утонул в нём сам...

День прошёл в тщетных розысках Изверцова, живого либо мёртвого. Но ни сам он, ни его тело нигде не нашлось. Полиция наполнила весь дом, всё опечатали, и многие были заарестованы по подозрению. Громче других, в своём неутешном отчаянии, рыдал Николай, вернувшийся только к вечеру, когда ему и сообщили страшное известие.

Недобрая тень легла на Ивана — тень сильного подозрения.

Накануне он был поколочен барином за пьянство и, видимо, остался недоволен наказанием, даже бормотал угрозы. Он один сопровождал его в пещеры, и при обыске нашли под изголовьем его постели в занимаемом им чулане кованую наполненную семейными драгоценностями шкатулку, которую старик Изверцов всегда хранил у себя в комнате, в шкафу под образами, под ключом, никогда не покидавшим его. Напрасно божился Иван, призывая Бога и всех святых свидетелями, что эту шкатулку он получил утром от самого барина, за несколько минут до того, как последнему вздумалось перед отъездом взглянуть на «бальную залу». Что эта шкатулка была сдана ему с рук на руки, чтобы её уложить в дормез. Барин собирался, как он смекнул, переделать в городе брильянты заново для подарка невесте, и что он, Иван, с радостью отдал бы свою жизнь за жизнь любимого барина, когда бы только он знал, как это сделать.

Но Ивана никто не слушал, и бедный слуга, заподозренный в убийстве, был посажен по распоряжению полиции в острог. В те далёкие времена неосознавшего преступника нельзя было приговаривать к наказанию, и не было по одному подозрению ни «лишений всех прав» ни ссылки, а тем более каторги.

Так бедный Иван и остался в остроге до добровольного сознания. Когда прошла целая неделя в тщетных поисках, то осиротевшее семейство облачилось в глубокий траур, отслужило торжественную панихиду и приступило к приготовлениям вскрытия духовной. Как все того и ожидали, духовное завещание осталось без всякой приписки, и всё состояние покойного, движимое и недвижимое, перешло к его наследнику, Николаю.

Старик профессор с хорошенькой дочерью, испытавшие столь внезапный поворот фортуны от блистательных надежд к полному разочарованию, с чисто саксонской флегмою приготовились к возвратному пути в столицу. Унося цитру под правой и уводя Минхен под левою рукою, старик собирался уже садиться в тарантас, когда Николай, победив сильное овладевающее им после смерти дяди волнение при каждой встрече с немочкой, вдруг решился и предложил профессору себя вместо покойного дяди. Перемена декораций, по-видимому, понравилась Минхен и не нашла затруднений со стороны старого артиста. Тихо и скромно, далеко до окончания траура, молодые люди были обвенчаны, и всё пошло по-прежнему в старом доме.

Прошло десять лет. Мы застаём счастливое семейство в полном комплекте в Озерках и даже с прибавлением одного нового члена. Хорошенькая Минхен потолстела и обрюзгла со дня исчезновения дяди; Николай сделался угрюмым домоседом, изменив постепенно все свои вкусы и привычки. Многие удивлялись в нём такой перемене, потому что никто не видел его теперь весёлым, не подмечал даже простой улыбки на его лице. Казалось, будто все стремления его жизни, все надежды и желания сосредоточились на одном: на пожирающем его желании отыскать убийцу дяди, другими словами, заставить Ивана сознаться в преступлении, но сибиряк не поддавался, а божился, как и в первый день, что он невинен.

Единственный сын родился у юной четы в первый год брака.

Но ребёнок был настолько слаб и мал, что казалось едва дышит, поэтому в соответствии с русской традицией в подобных случаях в тот же вечер позвали священника, чтобы немедленно крестить его, дабы в случае смерти он не попал в место, подготовленное христианами теологами для некрещённых младенцев. На церемонию в большом приёмном зале собрались семья и слуги и священник уже собирался трижды окунуть младенца в воду, но все увидели как он резко замер, побледнел как смерть и уставился в пустоту. Руки у него так сильно дрожали, что он чуть не уронил ребёнка в купель. Одновременно, нянька, стоявшая на краю первого ряда присутствующих, дико взвизгнула, и, показав рукой в направлении библиотеки старого Изверцова, в ужасе бросилась вон из залы. Никто не мог понять, почему паника обуяла этих двух людей, потому что кроме них никто не видел ничего необычного. Кто-то сказал, что дверь библиотеки медленно открылась, но она могла быть открыта ветром, который гулял по всему старому особняку. После крещения священник, слова которого подтвердила рыдающая служанка, торжественно поклялся, что видел какое-то мгновение, призрак покойного хозяина на пороге в библиотеку, он быстро проскользнул к купели и также быстро исчез. Оба свидетеля отметили, что лицо призрака было угрожающим. Перекрестившись и пробормотав молитвы, священник сказал, что семья должна служить обедню в течении семи недель для упокоя «мятущейся души».

И странный то был ребёнок: «совсем чудной!» — говорили няньки. Крошечный, слабенький, вечно больной, его младенческая жизнь, казалось, всегда висела на тончайшей нитке. Но всё это было бы ещё ничего, когда бы не прибавилось к этому самого удивительного сходства ребёнка с двоюродным дедом. Когда лицо мальчика оставалось спокойным, то это сходство становилось до того поразительным, что все в семействе, глядя на него, в каком-то суеверном ужасе отшатывались зачастую от невинного крошки, как от ядовитой змеи. С годами сделалось ещё хуже. То было бледное, сморщенное лицо шестидесятилетнего старика на плечах девятилетнего дитяти. Он никогда не играл, никогда не смеялся, а посаженный на своё высокое детское креслице, он важно и не двигаясь сидел в нём по целым часам, сложив руки особенным, привычным одному покойному Изверцову образом, и так и оставался в нём, неподвижный, молчаливый и дремлющий... Часто по ночам нянька, взглянув на него, поспешно крестилась и украдкой окропляла его святой водою; и ни за что ни одна из них ещё не соглашалась спать с ним в детской одна, а требовала двух или трёх горничных себе в подмогу...

Поведение с ним его отца казалось ещё страннее. Он любил сына страстно, ревниво, безумно, и в одно и то же время, казалось, смертельно его ненавидел. Он редко ласкал или брал ребёнка на руки; а сидя напротив сгорбившейся, старообразной и болезненной детской фигурки, он бывало просиживал долгие часы, не спуская с него широко раскрытых, полных немого ужаса глаз, ни разу неотвернув от него своего бледного, будто с застывшим неразгаданным вопросом

на нём, лица... Со дня своего рождения мальчик никогда не выезжал из Озерков, и кроме семейства Николая Изверцова почти никто из посторонних, знавших старика дядю, не видал ещё ребёнка.

Минхен, не замечая ничего необычайного в своём сыне, любила его по-своему, разделяя всё дарованное ей природою чувство между сыном и сладкими печеньями, на которые она была большой мастерицею. Со дня рождения сына Николай охладевал к ней с каждым днём, пока, видимо, не стал тяготиться её пухленькой особою и даже избегать её, где только мог. Но голубоокая Минхен ничего этого не замечала, и розы на её пышных щеках рдели по-прежнему, даже более прежнего: розы превратились в пионы, и она казалась ещё спокойнее и довольнее прежнего.

В продолжение шести и более лет Изверцовы почти никого не принимали. В первые два года женитьбы брата две из его трёх сестёр вышли замуж, а брат уехал служить в свой полк в дальнюю губернию. Оставались два старика — брат покойного да артист на цитре и меньшая сестра Изверцова, не ладившая с Минхен и проводившая почти всё своё время в городе П., у замужней сестры.

К тому времени приехал в те страны некий обративший на себя внимание всей губернии иностранец. То был богатый, как говорили, венгерец, знаменитый путешественник и эксплуататор неведомых стран во всех частях света и прошедший перед тем несколько лет в Средней Азии и на севере Сибири. Объездив всю губернию, он заехал наконец «на несколько дней», как говорили, в П. и очень неожиданно там поселился. Ему сопутствовал отталкивающего, мрачного вида шаман, над которым, как рассказывали, граф экспериментировал и делал магнетические опыты. Он давал большие обеды и балы, имел открытый, весёлый дом и где бы ни был, дома ли у себя, или в гостях, он всюду брал с собою и выставлял на показ своего шамана, которым он, видимо, очень гордился и крепко берёт. Весь город был от него без ума, а между прочими дамами — и сёстры Николая Изверцова.

В один тёплый, летний день, жители города П. или, правильнее, его аристократия под предводительством двух упомянутых дам сделали неожиданный набег на Озерки и к великому смущению Николая потребовали от него дозволения воспользоваться его «бальной залой» в пещере для пикника, который граф намеревался окончить весёлым балом. В присутствии сестёр и стольких хороших давно не виданных им друзей и знакомых Николай нашёл невозможным отказать гостям в их просьбе. Все заметили, как он страшно побледнел при упоминании Пещеры Эхо, и как задрожали его крепко сжатые губы. Но знавшие печальную участь, постигшую старика Изверцова в Чёртовой Глотке, очень деликатно воздержались от всякого замечания и только искренно пожалели о молодом человеке, так долго горюющем о любимом дяде.

Николай дал согласие и предоставил пещеру в полное распоряжение венгерского путешественника. Ещё труднее оказалось уговорить его присутствовать на весёлом празднике. Но граф успел и в этом. Казалось, будто с первой минуты таинственный мадьяр приобрёл власть над Изверцовым. Глаза последнего не отрывались от высокой, статной фигуры магнетизёра; и в первый раз за последние десять лет домашние увидели на постоянно суровом лице Николая нечто вроде улыбки при разговоре с иностранцем.

В назначенный день пещера, с её бездонным озером, высеченными в стенах ложами и платформой для танцев, горела, залитая бесчисленными огнями. Сотни восковых свеч и факелов, разноцветных фонарей и ламп освещали мохом поросшие тёмные уголки, годами не выдавшие не только дневного, но и искусственного света. Глубокие тени прогонялись из всех расщелин, а с ними улетали и стаи испуганных светом сов и летучих мышей. Сталактиты сияли на стенах тысячами радужных огней; а спящее эхо, внезапно разбуженное весёлым смехом и разговорами, тщетно дрожало и выло, хохотало и стонало — его никто не пугался в такой шумной толпе и скоро перестали даже обращать на него внимание.

Шаман, которого венгерец никогда ни на минуту не выпускал из виду, сидел в состоянии обычного транса, недалеко от своего друга и патрона. Сидя на корточках, в нише скалы, находящейся на полдороге между главным входом и бассейном, с его жёлто-лимонного цвета сморщенным лицом, узкими глазками, плоским носом и реденькой бородкой, шаман походил скорее на уродливого идола, нежели на человеческое существо. Около него толпились многие — мужчины и дамы, прося неустанно «погадать». Венгерец никогда не отказывал; просил тотчас же предложить шаману вопрос, мысленный или какой угодно, и всякий получал — по всеобщему уверению — «безошибочный» ответ.

Вдруг молодая дама, жена одного из крупных сановников, обратила внимание присутствующих, что старик Изверцов, пропавший так таинственно десять лет тому назад, исчез именно в этой самой пещере. Венгерец, видимо заинтересованный загадочным происшествием, пожелал узнать б'ольшие подробности. В толпе разыскали Николая и привели к амфитриону праздника. Он был владельцем пещеры и Озерков, племянником погибшей жертвы, и нашёл невозможным отказать стольким гостям в их просьбе. Он повторил все подробности ужасного события дрожащим голосом с мертвенно-бледным лицом и не мог при конце рассказа удержать судорожного рыдания. Оно ему сжало горло, и несколько тяжёлых жгучих слез скатилось из его лихорадочно блестящих глаз. Все были сильно тронуты. Дамы вытирали глаза батистовыми платочками, мужчины кашляли, чтобы скрыть волнение; и не было конца симпатичным замечаниям, искренним похвалам поведению любящего, благодарного племянника, так свято чтущего память дяди и благодетеля.

Вдруг среди скромно изъявляемой Николаем признательности за доброе мнение о нём голос его внезапно оборвался, глаза чуть не выскочили из широко раскрытых век, и с худоподавленным стоном он внезапно подался всем корпусом назад... Глаза целой толпы устремились с любопытством и беспокойством по направлению его безумно испуганного взора и не могли открыть ничего, что бы могло его так поразить. Ничего... Кроме маленького старообразного худенького личика, пугливо выглядывавшего из-за спины венгерца.

— Откуда ты мог явиться!.. Кто пустил тебя сюда?... Кто смел без моего позволения?... — бормотал Николай, с лицом бледнее смерти.

— Я уже лежал в постели, папа; он пришёл ко мне, взял и... принёс сюда на руках, — просто отвечал мальчик, показывая на шамана, возле которого он стоял на скале, тот же сидел с закрытыми глазами, мирно покачиваясь со стороны на сторону, словно часовой маятник.

— Это очень странно, — заметил один из гостей. — Когда же это шаман его мог принести, когда он весь вечер не сходил со своего места!

— Мать Пресвятая Богородица!.. — воскликнула, осеня себя крестным знамением, одна из городских старожилок, старая знакомая Изверцовых. — Да это вылитый покойник!.. Взгляните вы на это сходство, Иван Михайлович!..

И она нервно дёрнула за рукав фрака другого старого приятеля Изверцова.

— Ты лжёшь, скверный мальчишка! — свирепо закричал отец. — Пошёл сейчас домой спать, здесь тебе не место, слабому и больному, — добавил он, внезапно понижая голос.

— Не сердитесь, дорогой хозяин! — ласково вмешался венгерец, с загадочным выражением на смуглом лице и крепко обнимая ребёнка рукою. — Не браните этого крошку; он не виноват и говорит одну правду. Малютка видел двойника моего шамана, всегда без своего футляра разгуливающего на свободе, и принял весьма натурально призрак за самого человека. Оставьте его немного с нами. Я ручаюсь, что это не повредит его здоровью...

Услышав такое странное объяснение, гости испуганно переглянулись, а некоторые так даже тихонько перекрестились, сплюнув предварительно в сторону на такое наваждение дьявола.

— Кстати, — продолжал венгерец решительным тоном и обращаясь скорее вообще ко всем, нежели к кому-нибудь в особенности, — почему бы нам не воспользоваться моим шаманом и не постараться с его помощью распутать тайну этой драмы? Ну а этот сибиряк, — подозреваемый убийца, Иван, — что он всё ещё в остроге?... Как!.. Прошло десять лет, и он всё ещё упирается?... Очень странно. Но теперь мы скоро откроем всю истину... Господа! прошу вас всех собраться сюда и выслушать моё предложение... — И объяснив свой план, он пожелал узнать, одобряют ли гости его мысль.

Не дожидаясь, впрочем, ответа, он подошёл к шаману и начал делать над ним пассы, даже и не испросив на то позволение хозяина дома. Николай Изверцов стоял, словно прирос к земле, окаменев от ужаса и неспособный произнести ни слова. Все, кроме него, приняли предложение с одобрением, а полицмейстер города П. подполковник С. — даже с радостью. Он потирал руки, благодарил венгерца и побежал собирать публику...



Когда всё было готово и гости столпились вокруг магнетизёра, он оглянул их с любезной улыбкой, как будто бы дело шло об обыкновенном фокусе, *un jeu de societe*.

— Позвольте мне, *mesdames et messieurs*, — начал он, — изменить на этот раз обычную программу и действовать иначе. Я намерен употребить в дело один из способов среднеазиатской магии. Во-первых, этот способ несравненно более приличествует дикости и запустению этого места, нежели приёмы обыкновенной, всем вам известной магнетизации; а затем, как вы сами в том весьма скоро убедитесь, он гораздо действительнее наших европейских пассов.

И, не дожидаясь согласия, он стал вынимать из никогда не покидавшей его большой дорожной сумки разные, самого странного вида предметы. Во-первых, крошечный барабан и две палочки из слоновой кости; затем два хрустальных флакончика: один полный какой-то зеленоватой жидкости, другой — пустой. Жидкостью из первого он окропил шамана, который вдруг задрожал всем телом и закачался ещё сильнее и ровнее прежнего. Воздух пещеры наполнился запахом пряностей, и сама атмосфера словно очистилась. Затем, к неопisanному ужасу присутствующих и смущению самого полицмейстера, он спокойно подошёл к тибетцу и, вынув из-за пазухи миниатюрный стилет, пронзил им насквозь тощую руку шамана пониже локтя и стал наполнять пустой флакон кровью, струившейся из глубокой раны. Когда флакон был почти полон, он, зажав отверстие ранки большим пальцем, остановил кровь с такою же лёгкостью, как если бы это была не живая рука, а бутылка, которую он крепко закупорил пробкою; потом этою кровью обрызгал головку маленького Изверцова. Мальчик даже и не моргнул. Он стоял словно окаменелый возле шамана и, казалось, ничего не видел. Оросив его горячей кровью, венгерец спрятал оба флакона в мешок и, повесив маленький барабан себе на шею, начал бить в него двумя костяными палочками, покрытыми магическими формулами и каббалистическими знаками, выбивая нечто вроде военной зори, чтобы «разбудить пещерные силы», как он выразился.

Публика, полуотвращённая и полуустрашённая такими непривычными для неё приёмами, обступила группу, центром и двигателем которой был иностранный граф, и смотрела, — ожидая сама не зная чего, — во все глаза. В продолжение нескольких минут в величественной пещере царствовала могильная тишина. Николай, с лицом разлагающегося трупа и безумными глазами, стоял неподвижный и немой. Магнетизёр, приготовясь барабанить, вышел немного из круга и стал между шаманом и платформой.

Первые звуки на барабанчике были до того нежны и глухи, что они не возбудили ни малейшего отклика в чутком эхо; только шаман ускорил ещё более своё маятникообразное движение туловищем, да ребёнок вздрогнул и казался встревоженным. Тогда барабанщик присоединил к еле слышной дроби свой голос и начал род пения — медленное, грустное и в высшей степени торжественное...

Что произошло тогда, способен рассказать лишь очевидец. Списываю с дневника присутствовавшей на этом памятном вечере особы, давно умершей и вздрагивавшей до своего последнего дня при одном воспоминании о той «ночи ужаса»!

...По мере того как слова на неизвестном нам языке слетали с уст венгерского графа, пламя от свечей, факелов и ламп стало приходить в движение, развеиваться и словно плясать, пока оно не запрыгало совершенно под такт ритмическому пению. Холодный свистящий ветерок вдруг подул из тёмных коридоров со стороны воды, оставляя за собою жалобное, продолжительное эхо. Потом все заметили, как из стен пещеры и окружающих озерко скал стал выходить будто туманный лёгкий пар, похожий на медленнодвигающееся облако. Эти пары являлись со всех сторон, ползли и соединялись воедино у ног барабанщика. Затем, словно минув сапоги венгерца, «облако» подымалось выше, росло и, собравшись вокруг шамана и бедного ребёнка, укутало обоих точно в белый саван... Окружая мальчика, оно тотчас же делалось прозрачным и серебристым, вокруг же шамана оно становилось кроваво-багровым, горело каким-то зловещим заревом...

Мы все едва дышали, и ужас начал завладевать даже многими из мужчин. Видимо, все мы находились тоже под влиянием чар и точно приросли к своим местам.

Заклинатель сделал внезапное движение и одним прыжком очутился на платформе возле озера и прямо против коридора. Он вдруг забарабанил с такой силою, что эхо разом пробудилось и подхватило вызов с поражающим результатом! Оно раскатывалось далеко и близко, стреляло словно из целой батареи; один выстрел следовал за другим с неумолкаемой, неуследимой быстротою, всё громче и громче, пока его гремющий рев не превратился в хор как бы тысяч голосов демонов, поднимающихся из бездонного колодца, вылетающих из чёрной пасти зияющего перед нами тёмного коридора, — нас действительно оглушала Чёртова Глотка, и мы находились в присутствии чего-то невыразимо сверхъестественного и ужасного! Вдобавок ко всему, вечно неподвижная, гладкая как зеркало вода бассейна вдруг, без всякой видимой причины, сильно заволновалась. Будто мощный вихрь, пролетев, задел крылом по её гладкой поверхности: спокойная вода в шестисаженном в диаметре бассейне вдруг превратилась минуты на две в бурливое сердитое море!

Ещё напев, заклинанья и длинная дробь на магнетическом барабане, и, казалось, самая гора со всем лесом и пещерами задрожали до самого своего основания от словно пушечных выстрелов, раздававшихся по тёмным далёким коридорам. После того как неподвижное, будто окоченелое тело шамана вдруг приподнялось аршина на два над своим местом, и как было, с поджатыми под себя ногами и закрытыми глазами, так и повисло в воздухе, продолжая качаться маятником взад и вперёд, с некоторыми дамами сделалось дурно; но на них никто не обратил ни малейшего внимания: в это время случилось нечто ещё более страшное и необъяснимое. Мальчик, на глазах у всех, перед сотней устремлённых на него любопытных, хотя и полных ужаса взоров очевидцев, вдруг стал видимо изменяться... Эта трансформация леденила кровь свидетелей, приковывала их беспомощными к их местам, шевелила в них мозги от немого ужаса. В первую минуту всем показалось, будто и маленький Изверцов тоже начинает приподниматься и виснуть на воздухе. Но это было не так: его ноги не покидали скалы, на которой они стояли, и только тело его стало расти и вытягиваться, будто природа желала чудодейственно пополнить работу нескольких лет в такое же число минут. Он стал высоким и широкоплечим, старообразные, но детские черты вдруг удлинились, выровнялись, возмужали пропорционально с телом. Ещё несколько секунд и... детское слабенькое тельце совершенно исчезло. Оно впиталось всецело в другое тело, в совсем другую личность... К ужасу всех нас, кто когда знал бывшего хозяина Озерков, эта другая, стоявшая теперь перед нами личность — был старик Изверцов!..

На его правом виске зияла широкая рана, из которой струилась тяжёлыми каплями кровь. Привидение двинулось прямо к Николаю и стало неподвижно перед ним. С приподнятыми дыбом волосами и страшным безумием в глазах он глядел на своего собственного сына, вдруг превратившегося в умершего дядю. Тяжёлое, мёртвое молчание, царившее уже несколько минут вокруг этой сцены, было теперь прервано венгерцем, обратившимся с заклинанием к мальчику-привидению.

— Во имя Великого Духа Истины, того, кому дана вся власть на земле, — произнёс заклинатель медленным, торжественным голосом, — отвечай нам правду единую, святую правду... Дух беспокойный и блуждающий, не в своё время лишённый тела, скажи нам, как прекратил ты жизнь... Случайно ли, или греховно был убит?...

Уста привидения зашевелились, и рот открылся; но за него отвечало зловещими и многократными повторениями эхо: «Убит!.. у-бит!.. у-у-бит!..»

— Где? Как и кем? — продолжал заклинатель.

Привидение подняло руку и указало на Николая Изверцова, устремив на него стеклянные неподвижные глаза. Затем, не переставая смотреть и указывать на него, призрак, не оборачиваясь, стал медленно, словно скользя по воздуху, направляться к озеру, останавливаясь на мгновение, как будто при каждом своём шаге. И словно влекомый невидимой непреодолимою силою, молодой Изверцов, делая шаг за шагом, приближался к нему, пока, наконец, достигнув озера, призрак не стал скользить уже по его снова спокойной и зеркальной поверхности. То была невообразимая, безумно страшная сцена!..

Когда преступник достиг парапета водной бездны, сильная судорога исказила его черты. Дрожа всем телом и бросаясь на одну из каменных ступеней, цепляясь при этом отчаянно обеими руками за скалы, с пеною у рта и дико блуждающими глазами, он внезапно испустил долгий пронзительный вопль ужаса. То был крик раненного насмерть животного, крик страха и низкой трусости... Призрак стоял теперь неподвижно над тёмными водами и, слегка наклоняясь по направлению к Николаю, манил его к себе. Корчась в припадке невыразимого страха, несчастный преступник оглашал всю пещеру своими пронзительными возгласами:

— Неправда... нет, нет... неправда! Я не убивал вас... Не я...

То Ив...

Вдруг послышался на полуслове громкий всплеск воды и явился второй: детский призрак сына Изверцова, тонувшего среди озера и делающего страшные усилия в борьбе за свою бедную маленькую жизнь. Над этой борющейся жалкой фигуркою стояло неподвижно грозное видение и продолжало манить Николая...

— Папа, папа!.. Спаси меня — я тону!.. — жалобно кричал тоненький голосок среди рёва и грома неумолкаемого передразнивающего эхо.

— Мой сын... мой мальчик!.. — завопил Николай обезумевшим голосом, вскакивая с парапета. — Моё дорогое, милое дитя! О, спасите, спасите его и возьмите мою преступную жизнь!.. Да, я сознаюсь, сознаюсь, пред Богом и людьми... я убийца... Это я убил дядю... я, я!..

Другой всплеск воды, и — призрак внезапно исчез. Это исчезновение как бы разом разрушило чары: вся толпа гостей устремила с криком ужаса на помощь утопающим. Уже несколько человек собирались броситься в озеро, когда точно невидимая рука удержала их, и они снова окаменели на своих местах: в нескольких шагах от них, среди кругообразных, расширяющихся струек, бесформенная, беловатая масса, держа убийцу и его мальчика-сына в тесных объятиях, тихо и медленно погружалась с ними в тёмные воды бездонного озера...

На следующее утро после этого необычайного события, когда после бессонной ночи некоторые из очевидцев посетили квартиру венгерского графа, то они нашли дом пустым и запертым. Заклинатель бесследно исчез вместе со своим шаманом. Многие из старожилов

города П. помнили это событие ещё в 40-х годах; а бывший полицмейстер подполковник С., умирая в глубокой старости, лет пятнадцать тому назад, объявил после предсмертной исповеди своё твердое убеждение, что венгерский путешественник был самым чёртом!

Достойным эпилогом этой страшной драмы явился пожар, разрушивший в ту же ночь старую дачу и все принадлежащие к ней постройки. Оставшиеся в живых на пепелище Озерков Изверцовы отслужили в Пещере Эхо несколько молебнов с водосвятием. Местность же эта до сей поры в глазах народа считается нечистой, проклятой.

\* \* \*

Несколько слов в заключение. Надеюсь, что если кто-то и может подвергнуть сомнению эту историю, то только не мыслящий спиритуалист. В анналах медиумизма можно найти аналогичные описания. Появление астральной формы, подобно тому, как старый Изверцов появился на крещении — обычное явление для ясновидящих. Если ребёнок превратился в мужчину на глазах толпы, то подобным образом видели, как из д-ра Мокка вышел призрак ребёнка и как много детей появились из шкафа Уильяма Эдди. Если в случае с мальчиком произошло увеличение пропорций тела, то утверждают, что подобное происходит с разными медиумами. Если «дух» — в соответствии с принятой терминологией, «астральный человек», как его называем мы, вытесняет неразвитую душу новорожденного двойственного существа, то подобным образом сотни других земных душ были причиной одержимости медиумов. Обмен «душами», как было подмечено, мог произойти между живыми людьми, незнакомыми друг с другом, и даже живущими в разных частях света. Это может произойти или в результате болезни, которая обычно ослабляет узы между астральным и физическим человеком, или вследствие какого-то оккультного действия. В левитации шамана также нет ничего необычного и если, находясь в трансе, от него отделился двойник, то пресса спиритуалистов часто сообщала о таком же феномене, который мы непосредственно наблюдали. Рассказ подтверждает, что испытали исследователи современных феноменов. В нём говорится, что в течение 10 лет реальный развоплощённый «дух» был причиной всего произошедшего. Притянутый к земле он горел справедливой, но дьявольской мстью, планирование и исполнение которой несомненно представляли непреодолимое препятствие прогрессу и очищению беспокойной души. Элементалы не играют роль в моей истории, за исключением того момента, когда их сильно потревожили звуки волшебного барабана и песни адепта. Действие этих существ нашло выражение в трепете языков пламени, ряби на воде озера и более сильном эхо. Феномены в П. были произведены и контролировались адептом-психологом, работавшим для, с и через развоплощённую душу, по заранее обдуманному плану жестокого возмездия, которое, хоть и принесло вред несчастному и беспокойному астральному человеку, всё-таки исполнило безошибочный закон Возмездия, наказав убийцу и освободив из тюрьмы невиновного.

Пусть спиритуалисты, которые объявят магию прекратившим своё существование предрассудком сравнят методы «мага» из истории с действиями медиумистического «круга». Круг получил название благодаря наиболее часто встречающемуся расположению сидящих, которое требуют сами «духи». Спиритуалисты считают это расположение философским и необходимым. Чтобы магнитный поток шёл по кругу сидящие должны взяться за руки. Если эта магнитная цепь будет разорвана, то чаще всего у медиума появятся трудности. Известны случаи, когда при разрыве магнитной цепи предметы, повисшие над землёй, падали. «Маг» либо мелом чертит круг в том месте, где будут сконцентрированы оккультные силы, чтобы произвести феномен — так, как это делает барон Дю Поте, и об этом знает вся Франция — либо формирует

этот круг мысленно, силой воли, и круг этот может быть разорван только если его воля ослабнет. Ритмические постукивания «мага» по барабану и его песни представляют иную и более совершенную форму пения и музыки современных медиумистических кругов. Современный спиритический сеанс может и должен стать школой магии, или же философским, контролируемым спиритуализмом.

*Нью-Йорк, 1878*

Ровно год назад, под Рождество, в загородном доме, а точнее сказать, старом родовом замке одного богатого финского землевладельца собралось многолюдное общество. Всё здесь было окрашено гостеприимством, унаследованным от наших предков, на всём лежала печать средневековых обычаев, связанных с преданиями и суевериями, финскими и русскими. Последние были завезены сюда с берегов Невы женщинами, владевшими в разное время замком.

В доме наряжали рождественские ёлки и готовились к гаданию. В этом старинном замке на стенах висели покрытые плесенью мрачные портреты знаменитых предков, дам и рыцарей, были здесь и пустынные башни с бастионами и готическими окнами, и таинственные коридоры, и тёмные бесконечные погреба, с лёгкостью превращавшиеся в потайные ходы и подземелья, в темницы, населённые беспокойными призраками героев местных легенд. Короче говоря, всё в этом замке располагало к страшным романтическим историям. Но увы! На сей раз они нам не понадобятся. В нашем рассказе эти добрые старые ужасы не будут играть той роли, которая им обычно отводится.

Главный его герой — ничем не примечательный человек. Назовём его Эрклером. Итак, доктор Эрклер, профессор медицины, немец по отцу и вполне русский по матери и по образованию, полученному в России, ничем особенным не выделялся, хотя был довольно крепкого телосложения. И тем не менее с ним случались весьма необычные вещи.

Как оказалось, Эрклер был заядлым путешественником. По собственной воле он сопровождал одного из самых известных исследователей в его кругосветных путешествиях. Не раз они смотрели смерти в лицо, мужественно перенося тропический зной и полярный холод. Но несмотря на это, доктор всегда с большим воодушевлением рассказывал о зимовках в Гренландии и на Новой Земле, о пустынях Австралии, где они на завтрак ели кенгуру, а на обед — мясо эму, и о том, как они едва не погибли от жажды во время сорокачасового перехода по безводной пустыне.

— Да, — говорил он, — я испытал в жизни почти всё, за исключением того, что вы назвали бы сверхъестественными явлениями.

Правда, если не брать в расчёт некий необыкновенный случай — я имею в виду встречу с одним человеком, о котором вам сейчас расскажу, — и его... в самом деле довольно странные, я бы даже сказал, совершенно необъяснимые последствия...

Все сразу потребовали от него объяснений, и доктор, вынужденный уступить уговорам, начал свой рассказ.

«В 1878 году обстоятельства вынудили нас встать на зимовку на северо-западном берегу Шпицбергена. В течение короткого северного лета мы пытались пробиться к полюсу, но, как это обычно бывает, попытки окончились неудачей из-за айсбергов, и нам пришлось отступить. Едва мы разбили лагерь, как спустилась полярная ночь, и наши корабли оказались в ледовом плену в заливе Массела. И мы поняли, что восемь долгих месяцев будем отрезаны от остального мира. Признаться, я поначалу этому ужаснулся. Снежный буран, за одну ночь разбросавший большую часть строительных материалов, предназначенных для зимних жилищ, и погубивший более сорока оленей из нашего стада, привёл нас в уныние. Перспектива голодной смерти не способствовала хорошему настроению. С потерей оленей мы лишились жаркого — наилучшего средства от полярных морозов, ведь в таком климате организм человека нуждается в

дополнительном тепле и хорошем питании. Однако мы смирились с нашими потерями и даже привыкли к здешней, на самом деле более питательной, пище — тюленьему мясу и жиру. Из оставшегося материала наши люди построили дом, разделённый на два отсека (один предназначался для трёх профессоров и для меня, а другой — для всех остальных), и несколько деревянных сараев, предназначенных для метеорологических, астрономических и магнитных исследований, и даже стойло для нескольких уцелевших оленей. И тогда бесконечной чередой потянулись однообразные полярные дни и ночи без рассвета, которые едва можно было отличить друг от друга с большим трудом, только по тёмно-серым теням. Временами нас охватывала ужасная тоска.

В сентябре мы собирались отправить домой два из трёх наших кораблей, но преждевременно образовавшиеся вокруг них ледяные стены разрушили наши планы. Теперь, когда к нам присоединились экипажи судов, мы были вынуждены ещё больше экономить наш скудный провиант, топливо и свет. Лампы использовались нами только для научных целей, в остальное время нам приходилось довольствоваться естественным освещением, создаваемым луной и северным сиянием.

...Как описать этот изумительный, ни с чем не сравнимый полярный свет! Все эти кольца, стрелы, гигантские зарева, сотканые из четко отграниченных друг от друга лучей самых ярких и разнообразных оттенков. Ноябрьские лунные ночи были пленительно прекрасны. Переливы лунного света на снегу и обледеневших скалах поражали воображение. Это были сказочные ночи!

И вот, в одну из таких ночей — а, может быть, и дней, ибо, насколько я помню, с конца ноября и почти до середины марта там совсем не было сумерек, позволяющих отделить день от ночи, — на фоне разноцветных лучей, окрашивающих снежные равнины в золотисто-розовые тона, мы вдруг заметили тёмное движущееся пятно. Оно увеличивалось в размерах и, казалось, дробилось по мере приближения к нам. Что это было: стадо или группа людей, торопливо идущих по снежной пустыне? Но животные были там белого цвета, как и всё вокруг. Что же это тогда? Люди?...

Мы не могли поверить своим глазам. Действительно, группа людей приближалась к месту нашей зимовки. Это были пятьдесят охотников на тюленей, которых возглавлял Матилисс, знаменитый мореплаватель из Норвегии. Как и мы, они также оказались в плену у айсбергов.

— Как вы узнали, что мы находимся здесь? — спросили мы.

— Нас привёл сюда старый Йохен, — ответили они, указывая на почтенного седовласого старца.

Откровенно говоря, их проводнику следовало бы сидеть дома у очага, а не охотиться на тюленей вместе с более молодыми мужчинами в северных краях. И мы сказали им об этом и опять спросили, как же всё-таки он узнал о нашем присутствии в этом царстве белых медведей. Матилисс и члены его команды улыбнулись в ответ и заверили нас, что старый Йохен знает обо всём. Они заметили, что мы, вероятно, впервые в Заполярье, раз ничего не слышали о Йохене и продолжаем удивляться тому, что говорят о нём.

— Вот уже почти сорок пять лет, — сказал предводитель охотников, — как я охочусь на тюленей в северных морях, и, насколько помню, он всегда был таким же, как и сейчас, седобородым стариком. И даже в те далёкие времена, когда я, будучи маленьким мальчиком, ходил в море со своим отцом, он рассказывал мне о старом Йохене то же самое и добавлял при этом, что и его отец и дед также знали с детства старого Йохена, который всегда был белым, как наши снега. И мы, охотники на тюленей, как и наши предки, до сих пор зовём его «седым ясновидцем».

— Неужели вы хотите убедить нас в том, что ему двести лет! — рассмеялись мы.

Некоторые из наших моряков, столпившихся вокруг этого седовласого чуда, засыпали его вопросами:

— Сколько же вам лет, дедушка?

— Я и сам не знаю, сыночки. Я живу ровно столько, сколько определил мне Господь. Я никогда не считал свои годы.

— А как вы узнали, что мы зимуем именно в этом месте?

— Дорогу мне указывал Бог. Как это получилось, я не знаю.

Единственное, что мне было известно, это куда надо держать путь.»





В 1828 году в Париж со своим учеником приехал старый немец — учитель музыки — и поселился в одном из тихих предместий столицы. Старика звали Самуэль Клаус; имя ученика звучало более поэтично — Франц Стенио. Молодой человек, по слухам, был скрипачом с необыкновенным, почти сказочным талантом. Поскольку он был беден и не успел ещё сделать себе имени в Европе, он провёл несколько лет в столице Франции — центре переменчивой континентальной моды — в полной безвестности. Франц был родом из Штирии; ко времени описываемых здесь событий ему было двадцать с небольшим. Будучи философом и мечтателем по натуре, наделённым всеми мистическими странностями подлинного гения, он напоминал кого-то из героев фантастических сказок Гофмана. Юные годы Франца протекали в очень необычной, даже чудной обстановке. И об этом необходимо сказать несколько слов, чтобы читателю стала понятнее эта история.

Франц родился в тихом городке, затерянном среди Штирийских Альп, в семье набожных сельчан. Ребёнка нянчили «гномы, которые присматривали за его колыбелькой»; он рос в странной атмосфере, наполненной рассказами о привидениях и вампирах, играющих такую важную роль в жизни каждого штирийца и словенца, обитающего на юге Австрии, и позднее получил образование в Германии, под сенью средневековых рейнских замков. С самого детства Франц прошёл через все эмоциональные стадии увлечения так называемыми «сверхъестественными явлениями». Одно время он изучал оккультные науки вместе с восторженным последователем учения Парацельса и Кунрата. В алхимии для него почти не осталось никаких секретов, а познакомившись с венгерскими цыганами, он попробовал себя в ритуальной магии и колдовстве. Но больше всего на свете Франц любил музыку, а ещё больше музыки — свою скрипку.

Когда ему исполнилось 22 года, он вдруг оставил практические занятия оккультизмом и с этого дня целиком посвятил себя искусству, хотя в глубине души был предан прекрасным греческим богам. Из уроков античной литературы в памяти у него сохранилось всё, что имело отношение к музам, особенно к Эвтерпе, алтарю которой он поклонялся, и Орфею, волшебную лиру которого он старался превзойти, играя на скрипке. Нимфы и сирены, очевидно, вследствие их двойного родства с музами через Каллиопу и Орфея, занимали воображение Франца гораздо больше, нежели вопросы этого подлунного мира. Все его мечты, подобно фимиаму, подхваченные волной неземной гармонии, которую он извлекал из своего инструмента, уносились в возвышенные и благородные сферы. Он грезил наяву и жил настоящей, хотя и заколдованной жизнью только в те часы, когда благодаря своему волшебному смычку в потоке звуков возносился к языческому Олимпу, к ногам Эвтерпы. Он был странным ребёнком, ибо рос в атмосфере всевозможных историй о колдовстве и магии, затем превратился в ещё более странного юношу, и наконец, достиг зрелого возраста, при этом ничто свойственное юности не коснулось Франца. Ни одно прекрасное девичье лицо не привлекло к себе его взора, ни разу за всё время одиноких занятий его мысли не обращались к тому, что лежало за пределами жизни знакомых ему цыган-мистиков. Довольствуясь своим собственным обществом, он провёл так лучшие годы отрочества и юности, своим главным идолом имея скрипку, а единственными слушателями — богов и богинь древней Эллады, пребывая в полном неведении относительно практической жизни. Всё его существование было одним нескончаемым днём, наполненным грёзами, музыкой и солнечным светом, и Франц никогда не испытывал никаких иных желаний.

Какими никчёмными, но в то же время какими чудесными были эти мечты! Какие яркие картины вспыхивали в его сознании! Стоило ли желать какой-то лучшей доли? Разве он не был

тем, кем хотел быть, молниеносно превращаясь то в одного, то в другого героя: то в Орфея, которому вся природа внимала, затаив дыхание, то в пастуха, игравшего на свирели наядам в тени платана у чистейшего источника Каллирои? Разве не сбегались быстроногие нимфы на звуки волшебной флейты аркадского пастуха, которым был он? Сама богиня Любви и Красоты спускалась к нему со своего Олимпа, привлечённая его сладкозвучной скрипкой!.. Однако пришло время, когда он предпочёл Афродите Сиригу, — но не преследуемую Паном прекрасную нимфу, а уже превращённую милосердными богами в тростник, из которого обманутый бог пастухов сделал себе волшебную свирель. Когда он пытался передавать на своей скрипке пленительные звуки, раздававшиеся у него в голове, весь Парнас зачарованно умолкал или отзывался на его игру небесным хором. Однако теперь Франц страстно мечтал добиться признания не у богов, воспетых Гесиодом, а у самых придирчивых ценителей музыки из европейских столиц. Ведь человек всегда стремится к чему-то большему, и его тщеславие редко бывает удовлетворено. Он завидовал волшебной свирели и хотел бы ею обладать.

«О, если бы я мог завлечь нимфу в свою любимую скрипку! — часто восклицал он, пробуждаясь от своих снов наяву. — Если бы я мог хотя бы мысленно перепрыгнуть через пропасть Времени! Если бы мне удалось хотя бы на денёк приобщиться к таинственному искусству богов, стать самому богом, приводя в восхищение человечество, проникнуть в тайну лиры Орфея или заключить сирену в свою собственную скрипку — на благо всем смертным и во славу себе!»

Слишком долго он грезил в обществе воображаемых богов, и теперь им овладели мечты о преходящей земной славе. Но в это время овдовевшая мать Франца неожиданно отозвала сына домой из одного немецкого университета, где он учился последние год или два. Это событие положило конец его планам, по крайней мере на ближайшее будущее, ибо до сих пор он жил на те жалкие гроши, которые она ему посылала, а его средств было недостаточно для самостоятельной жизни вдали от родных мест.

Его возвращение имело неожиданное последствие. Вскоре после приезда нежно любимого сына мать Франца умерла; и добропорядочные жёны города чуть ли не целый месяц упражняли свои бойкие языки, строя предположения относительно того, что же явилось истинной причиной её смерти.

До приезда Франца фрау Стенио была крепкой, пышущей здоровьем женщиной средних лет. Набожная и религиозная, она никогда не забывала о молитвах и не пропустила ни одной утренней мессы за всё время отсутствия сына. В первое воскресенье, после того как Франц вернулся домой — этого дня она ждала с нетерпением и не раз представляла себе, как её сын преклонит колени подле неё в церквушке на холме, — фрау Стенио окликнула его с нижних ступенек лестницы. Её набожная мечта должна была вот-вот осуществиться, и она поджидала сына, бережно вытирая пыль с молитвенника, которым Франц пользовался в отрочестве. Но вместо Франца на зов матери откликнулась его скрипка, и её звонкий голос смешался с надтреснутым перезвоном воскресных колоколов. Любящая мать была неприятно поражена, когда услышала, как эти боговдохновенные звуки заглушила какая-то странная и таинственная мелодия «Пляски ведьм», показавшаяся ей неземной и издевательской. Фрау Стенио и вовсе едва не лишилась чувств, услышав решительный отказ нежно любимого сына пойти на церковную службу. Он никогда не ходит в церковь, холодно заметил Франц. Это совершенно пустая трата времени; а кроме того, старый церковный орган действует ему на нервы. Ничто не заставит его подвергнуть себя пытке, слушая этот расстроенный инструмент. Франц был неумолим, и переубедить его не было никакой возможности. А чтобы положить конец её мольбам и увещаниям, он сыграл ей только что сочинённый им «Гимн Солнцу».

(С этого памятного воскресного утра фрау Стенио утратила душевный покой. Она

поспешила в исповедальню, дабы излить свою печаль и найти утешение; но то, что она слышала от сурового священника, наполнило её кроткую и бесхитростную душу смятением, едва ли не отчаянием. С этого момента её не покидали страх и чувство глубокого ужаса. Тревога не давала ей уснуть по ночам, а дни она проводила в слезах и молитвах. Тревожась о спасении души своего любимого сына, о его загробной жизни, она принесла несколько поспешных обетов. Но поскольку ни обращение к Божьей Матери на латыни, написанное по просьбе фрау Стенио её духовным отцом, ни её собственные мольбы на немецком, обращённые ко всем святым, которые, по её убеждению, пребывали в раю, не принесли желаемого результата, она решила совершить несколько паломничеств к дальним святыням. Во время одного из них — к святой часовне, расположенной высоко в горах, — она простудилась на ледниках Тироля, спустилась вниз и слегла в постель, с которой так и не поднялась. В каком-то смысле молитвы фрау Стенио всё же оказались не совсем напрасными: бедная женщина получила теперь возможность, так сказать, на небесах лично обратиться к святым, которым она так верила, и взмолить их о прощении своего сына вероотступника, отвернувшегося от них и от церкви, глумившегося над монахами и таинством исповеди и не переносившего церковный орган.

Франц искренно оплакивал кончину матери, но, не догадываясь о том, что был косвенной причиной её смерти, не испытывал угрызений совести. Распродав скромное домашнее имущество, с тощим кошельком и лёгким сердцем, он решил отправиться в странствия на год или два, прежде чем осесть где-либо и заняться каким-нибудь делом.

В основе этого плана совершить путешествие лежало смутное желание увидеть большие города Европы и попытаться счастья во Франции, но привычка к богемному образу жизни была в нём слишком сильна, чтобы сразу с ней расстаться. Свой скромный капитал он отдал банкиру, так сказать, на чёрный день, и отправился в пешее путешествие по Германии и Австрии. Игрой на скрипке он расплачивался за стол и ночлег на фермах и постоялых дворах, встречавшихся ему по пути, и всё время проводил в зеленеющих полях или среди возвышенного безмолвия леса, наедине с природой и, как обычно, предаваясь грёзам наяву. За три месяца этих приятных скитаний без определённой цели Франц ни на секунду не спустился с вершины Парнаса на грешную землю. Но, уподобясь алхимику, превращающему свинец в чистое золото, всё, что попадалось ему на пути, он обращал в песни Гесиода или Анакреона. По вечерам, когда он, расположившись на зелёной лужайке или в зале сельского трактира, зарабатывал себе на ужин и ночлег игрой на скрипке, всё вокруг него преображалось. В его воображении сельские парни и девушки превращались в аркадских пастухов и нимф, а земляной пол — в прекрасный зелёный газон. Кружившиеся в размеренном вальсе с дикой грацией прирученных медведей неуклюжие пары преображались в жрецов и жриц Терпсихоры. Пышнотелые, розовощёкие и голубоглазые дочери сельской Германии были для него Гесперидами, которые водили хоровод вокруг деревьев, согнувшихся под тяжестью золотых яблок. Но прекрасные мелодии свирелей аркадских полубогов, которые были доступны лишь его волшебному слуху, не исчезали на рассвете. Едва спадала с его глаз пелена сна, как он отправлялся в очередное волшебное царство дневных грёз. По дороге к какому-нибудь тенистому и величественному хвойному лесу он беспрестанно играл себе и всему, что его окружало: зелёному холму и горам, и покрытые мхом скалы подступали к нему поближе, чтобы как можно лучше его слышать, словно он был Орфеем. Франц играл весёлому ручейку, торопливой реке, и они замедляли бег своих волн, замороженные звуками его скрипки. Даже длинноногий аист, который, стоя на одной ноге, замер в задумчивости на соломенной крыше сельской мельницы, сосредоточенно решая для самого себя загадку своего слишком дорогого существования, посылал вслед ему протяжный и пронзительный крик: «О Стенио, ты сам Орфей!»

Это было время полного блаженства, ежедневных и почти ежечасных восторгов. Последние

слова умирающей матери, шептавшей об ужасах вечного наказания, оставили его равнодушным, и её предостережение вызвало в нём лишь образ Плутона. Он отчётливо увидел владыку подземного царства, который приветствовал его, как когда-то приветствовал мужа Эвридики. Чарующие звуки скрипки вновь остановили колесо Иксиона, облегчая страдания несчастного соблазнителя Юноны и уличая во лжи тех, кто требовал вечного наказания осуждённым грешникам. Тантал забыл о терзавших его голоде и жажде — их утолила небесная мелодия Франца. Сизифов камень замер неподвижно; и даже фурии улыбались ему, а восхищённый его игрой мрачный Плутон предпочёл скрипку Стенио лире Орфея. Так, серьёзное отношение к мифам, особенно если оно подкреплено безрассудной и страстной любовью к музыке, кажется нам превосходным средством от страха, встающего перед лицом богословских угроз. Вместе с Францем Эвтерпа могла одержать верх в любом состязании, даже вступив в схватку с самим властителем ада!

Но всё когда-то кончается, и скоро Францу пришлось очнуться от нескончаемых грёз. Он добрался до университетского городка, где жил его старый учитель музыки Самуэль Клаус. Когда этот старомодный музыкант узнал, что его любимый ученик остался на белом свете один и почти без средств к существованию, он почувствовал, что давняя привязанность к юноше вновь возродилась в его душе с удесятирёрненной силой. Он отдал Францу всё тепло своего сердца и стал заботиться о нём, как о родном сыне.

Старый учитель напоминал одного из тех нелепых персонажей, что, кажется, сошли с какого-нибудь средневекового витража. К тому же, обладая странными повадками домового, Клаус отличался необыкновенно отзывчивым сердцем, таким же нежным, как у женщины, и готовностью к самопожертвованию первых христианских мучеников. Когда Франц вкратце изложил ему историю последних лет своей жизни, профессор взял его за руку и, отведя молодого человека к себе в кабинет, просто сказал:

— Довольно скитаться, оставайся у меня. Стань знаменитым. Я стар, у меня нет детей, я заменю тебе отца. Будем жить вместе и забудем обо всём, кроме славы.

И Самуэль Клаус сразу же предложил Францу отправиться в Париж через несколько крупных городов Германии, где они будут давать концерты.

За несколько дней Клаус добился того, что Франц забыл свою скитальческую жизнь и связанную с ней артистическую независимость, ему удалось пробудить в нём дремавшее до сих пор честолюбие и жажду мировой славы. С тех пор как умерла его мать, он довольствовался лишь аплодисментами богов и богинь, населявших его воображение; теперь же он опять почувствовал страстное желание снискать восхищение у простых смертных. Под наблюдением умного и заботливого Клауса его замечательный талант креп с каждым днём и приобретал всё большее очарование. Известность Франца росла, и с каждым новым концертом, который он давал в больших и малых городах, число его поклонников увеличивалось. Его честолюбивые мечты быстро претворялись в жизнь. Признанные гении различных музыкальных центров, оказывавшие ему покровительство, вскоре провозгласили Франца Стенио лучшим скрипачом современности, а публика во весь голос объявила, что он превзошёл всех музыкантов, которых ей доводилось когда-либо слышать. Эти восторженные похвалы скоро вскружили голову и маэстро, и его ученику.

Но Париж был более сдержанным в своих оценках. Париж сам создавал репутации, ничего не принимая на веру. Они прожили во французской столице уже почти три года и всё ещё с большими трудностями карабкались на артистическую Голгофу, как вдруг произошло событие, отнявшее у них даже самые скромные надежды. В Париж впервые должен был приехать Никколо Паганини, и Лютеция с нетерпением ожидала встречи с ним. И когда этот не имеющий себе равных музыкант прибыл, весь Париж тотчас упал к его ногам.

Известно, что согласно суевериям, зародившимся в мрачную эпоху средневековья и дошедшим почти до середины XIX века, любой незаурядный талант, подобный тому, коим обладал Паганини, люди приписывали действию «сверхъестественных» сил. Всех великих музыкантов при их жизни обвиняли в сделке с дьяволом. Достаточно напомнить читателю несколько подобных историй.

Так, о великом скрипаче и композиторе XVII столетия Тартини говорили, что своими самыми вдохновенными творениями он обязан дьяволу, которому якобы продал душу. Конечно, подобное обвинение было вызвано тем волшебным впечатлением, которое он производил на своих слушателей. Благодаря виртуозной игре на скрипке за ним в Италии утвердился титул «мастера всех народов». «Соната Дьявола», называемая также «Сном Тартини», — и это может подтвердить всякий, кто её слышал, — была самой таинственной из всех когда-либо сочинённых на земле мелодий, поэтому превосходное произведение стало источником нескончаемых легенд. Они не были совсем беспочвенны, поскольку Тартини сам способствовал их распространению. Он признался, что записал музыку после того, как ему приснился сон, в котором сонату исполнил для него Сатана в результате заключённой с Его Инфернальным Величеством сделки. Даже некоторые знаменитые певцы, чьи необыкновенные голоса вызывали у слушателей восхищение и одновременно суеверный страх, не избежали подобных обвинений. Великолепный голос Пасты объясняли тем, что за три месяца до её рождения мать оперной дивы, впад в экстаз, вознеслась на небеса и услышала там пение ангелов. Одни говорили, что Малибран обязана своим голосом святой Цецилии, другие утверждали нечто иное — демон баюкал её в колыбели, и этим будто бы объясняется дар певицы. Наконец, Паганини, обыкновенный итальянец и непревзойдённый музыкант, который, подобно Джубалу Драйдена, игравшему на «гармонической раковине», вынуждал толпы людей поклоняться божественным звукам и высказывать догадки, что «бог вселился в его скрипку», — так вот, Паганини тоже оставил после себя легенду.

Над почти сверхъестественным искусством величайшего скрипача, которому до сих пор не было равных, часто размышляли, но так и не смогли проникнуть в его тайну. Он производил на публику непостижимое, захватывающее впечатление. Говорят, что великий Россини, услышав впервые, как он играет, плакал, как сентиментальная немецкая девушка. Сестра великого Наполеона, принцесса Элиза де Лукка, на службе у которой состоял Паганини, будучи дирижёром её оркестра, долгое время не могла слушать его игру, ибо падала в обморок. У женщин он по собственному желанию вызывал нервные припадки и истерику, стойких мужчин приводил в неистовство. Трусы превращались в героев, а храбрые солдаты становились похожими на слабонервных школьников. Неудивительно, что вокруг имени таинственного гегуэцца, этого нового Орфея Европы, многие годы ходили сотни самых невероятных легенд.

Одна из них была особенно ужасна. Распространился слух, в который многие верили, хотя и не сознавались в этом, что струны его скрипки сделаны из человеческих кишок в соответствии со всеми правилами и требованиями чёрной магии. И кое-кому это покажется преувеличением, тут нет ничего невероятного, и очень может быть, что именно эта легенда и привела к тем необыкновенным событиям, о коих мы собираемся рассказать.

Восточные колдуны часто используют человеческие органы; и это уже установленный факт, что некоторые бенгальские тантрики (чтецы тантр, или «обращений к демонству», как о них отозвался один почтенный автор) используют трупы людей и их внутренние и внешние органы в магических целях. Как бы то ни было, теперь, когда магнетические и месмерические свойства

гипноза признаются большинством врачей, можно гораздо определённое, чем раньше, говорить о том, что необыкновенное воздействие, оказываемое игрой Паганини, вероятно, нельзя полностью объяснить его талантом и гениальностью. Изумление, смешанное с трепетом, с такой лёгкостью внушаемое им публике, объяснялось как его внешностью, в которой, по свидетельствам его биографов, «было что-то роковое и демоническое», так и невыразимым очарованием, присущим его виртуозной технике. Последнее подтверждается его безупречной имитацией флажолета и исполнением протяжных великолепных мелодий на одной струне «соль». Многие музыканты безуспешно пытались воспроизвести эту технику, но Паганини и по сей день остается непревзойдённым.

Из-за своей необыкновенной внешности — друзья музыканта именовали её странной, а чересчур нервные жертвы его исполнительского искусства — дьявольской — опровергнуть нелепые слухи ему было очень нелегко. Современники Паганини были готовы поверить в них скорее, чем мы, живущие ныне. По всей Италии и даже в его родном городе люди шептались о том, что Паганини будто бы убил свою жену, а потом и любовницу, которых страстно любил и которых без колебаний принёс в жертву дьявольскому честолюбию. Говорили, что, овладев секретами магии, он заточил души обеих женщин в свою скрипку — знаменитую Кремону.

Близкие друзья прославленного Э.Т.А. Гофмана утверждали, что образ советника Креспеля из новеллы «Скрипка Кремоны» автору романа «Эликсир Дьявола», «Мастера Мартина» и других очаровательных мистических историй навеяла легенда о Паганини. Те, кто читал новеллу, конечно, помнят историю о знаменитой скрипке: в неё вселилась душа и голос известной дивы, возлюбленной Креспеля, им убитой, а затем к ним добавился голос его любимой дочери Антонии. Очевидно, Гофман слышал игру Паганини, раз он использовал в своём произведении такую странную и, на первый взгляд, неправдоподобную историю. Однако поверить в неё заставляла необыкновенная лёгкость, с какой музыкант не только извлекал из своего инструмента какие-то совершенно потусторонние звуки, но и вполне человеческие голоса. Подобные эффекты могли привести публику в изумление, а наиболее впечатлительных повергнуть в состояние ужаса. Добавьте к этому ещё и то, что определённый период в юности Паганини был окутан непроницаемой завесой тайны, поэтому самые нелепые вымыслы о нём надо будет признать отчасти не лишёнными основания и даже извинительными, особенно если речь идёт о народе, предки которого имели своих борджиа и медики в чёрной магии.

В ту далекую пору телеграфа ещё не существовало, а газеты выходили ограниченными тиражами, поэтому слава распространялась не так быстро, как ныне.

Франц вряд ли слышал о Паганини, а когда услышал, — поклялся, что если он и не затмит блеск несравненного генуэзца, то, по крайней мере, окажется его достойным соперником. Одно из двух: или он станет самым знаменитым из живущих скрипачей, или разобьёт инструмент и покончит с собой. Подобная решимость обрадовала старого Клауса, он довольно потирал руки, подпрыгивая на своей хромой ноге, словно увечный сатир, расточал ученику неуёмные похвалы, льстил, убеждая себя, что делает это во имя святого и возвышенного искусства.

Три года назад, когда Франц впервые приехал в Париж, у него были все шансы на успех, но он потерпел неудачу. Музыкальные критики объявили его восходящей звездой, однако пришли к единодушному мнению, что ему понадобится ещё несколько лет занятий, прежде чем он сумеет покорить публику. Поэтому после более чем двухлетней подготовки, не прекращавшихся ни на один день самозабвенных упражнений шпирийский музыкант наконец почувствовал, что готов к первому серьёзному выступлению в просторном зале Оперного театра, где должен был состояться публичный концерт перед самыми придирчивыми критиками Старого света. Но в этот ответственный момент в европейскую столицу прибыл Паганини, что создало препятствие на пути претворения надежд Франца, поэтому старый немец благоразумно отложил дебют своего ученика. Поначалу он подтрунивал над необузданными восторгам, хвалебными гимнами во славу генуэзского скрипача и над тем почти суеверным трепетом, с каким произносилось его имя. Но очень скоро образ Паганини превратился в раскалённое железо, которое жгло сердца обоих музыкантов, в пугающего призрака, неотступно преследовавшего Клауса. Прошло ещё несколько дней, и они стали вздрагивать при одном лишь упоминании имени их великого соперника, чей успех с каждым вечером становился всё более беспримерным.

Первая серия концертов уже заканчивалась, но ни Клаус, ни Франц ещё не получили возможность услышать Паганини и оценить его мастерство. Билеты стоили так дорого и такой крохотной была надежда на получение контрамарки у своего коллеги артиста, справедливо считавшегося на редкость скупым в денежных вопросах, что им, как и многим другим, пришлось ждать удачного случая. Но настал день, когда маэстро и его ученик почувствовали, что они больше не могут сдерживать своё нетерпение: они заложили часы и на вырученные деньги купили два самых дешёвых билета.

Вряд ли кто сумел бы описать бурю восторга и восхищения, разразившегося в тот памятный, но роковой вечер! Публика неистовствовала: мужчины рыдали, женщины визжали и падали в обморок, а Клаус и Стенио своей бледностью напоминали призраков. Едва волшебный смычок Паганини коснулся струн, как Франц и Самуэль почувствовали, будто до них дотронулась ледяная рука смерти. Охваченные непреодолимым восторгом, который обернулся для них жестокой, нестерпимой душевной пыткой, они даже не решались посмотреть друг другу в глаза и за весь концерт не обмолвились ни единым словом.

В полночь, когда избранные представители музыкальных обществ и Парижской консерватории распрягли лошадей и сами с триумфом потащили карету великого артиста к его дому, оба немца вернулись в своё скромное жилище. На них было жалко смотреть. Мрачные и удручённые, они сидели на своих обычных местах у камина и хранили молчание.

— Самуэль! — воскликнул наконец Франц, бледный как смерть. — Самуэль, нам остаётся теперь только умереть... Ты слышишь меня?... Мы ничтожества! Мы были безумцами, когда полагали, что в этом мире кто-то может соперничать с... ним! — Имя Паганини застряло у него



в горле, и Франц обречённо рухнул в кресло.

Морщинистое лицо старого учителя вдруг побагровело. Его маленькие зелёные глазки засветились мерцающим светом, когда, наклонившись к своему ученику, он прошептал хриплым, надтреснутым голосом:

— Нет, нет! Ты ошибаешься, мой Франц! Я учил тебя, и ты овладел всеми тайнами великого искусства, которые простой смертный и вдобавок крещёный христианин может перенять у другого такого же простого смертного. Разве есть моя вина в том, что эти проклятые итальянцы прибегают к услугам Сатаны и дьявольским ухищрениям чёрной магии, чтобы безраздельно господствовать в искусстве?

Франц взглянул на своего учителя. В его воспалённых глазах горел зловещий огонёк, который недвусмысленно говорил ему, что ради обретения подобного могущества, он, не задумываясь, продал бы своё тело и душу дьяволу.

Однако Франц не проронил ни слова и, отведя взгляд от Клауса, задумчиво посмотрел на догорающие угли.

Сонмы давно забытых бессвязных грёз, которые в дни юности казались Францу такими реальными, а потом были им отвергнуты и постепенно стёрлись из памяти, теперь вновь наполнили его сознание так же ярко и живо, как и прежде. Воскресшие тени Иксиона, Сизифа и Тантала предстали перед его мысленным взором, гримасничая и вопрошая: «Что значит ад для тебя, человека в него не верящего? Но даже если ад действительно существует, то это ад, описанный древними греками, а не нынешними изуверами, то есть местность, населённая разумными теньями, для которых ты можешь стать вторым Орфеем».

Франц почувствовал, что вот-вот сойдёт с ума, и, машинально повернув голову, он снова посмотрел прямо в глаза своему старому учителю, а затем отвёл взгляд от его воспалённых очей.

То ли Самуэль понял, что творится в душе его ученика, то ли решил отвлечь его от мучительных размышлений, — это останется загадкой как для читателя, так и для самого автора. Но какими бы ни были его намерения, немец произнёс с притворным спокойствием:

— Франц, мой дорогой мальчик, я говорю тебе, что мастерство этого проклятого итальянца лишено естественности, что дело здесь не в трудолюбии и одарённости. Не смотри на меня так дико, ибо то, о чём я говорю, на устах у миллионов людей. Выслушай меня и постарайся понять. Тебе известна странная история, которую рассказывают о знаменитом Тартини? Он умер в одну прекрасную ночь, ночь шабаша, задушенный своим демоном, который научил его тому, как заставить петь скрипку человеческим голосом, вложив в неё посредством заклинаний душу юной девы. Паганини сделал больше. Чтобы наделить свой инструмент способностью издавать человеческие звуки, такие как рыдания, крики отчаяния, мольбы, стоны любви и ярости, — словом, научить скрипку передавать самые пронзительные оттенки человеческого голоса, Паганини убил не только свою жену и любовницу, но и своего друга, который относился к нему с такой нежностью, как никто другой на свете. Затем он сделал четыре струны для своей волшебной скрипки из кишок последней жертвы. В этом заключается секрет его завораживающего таланта, той всепоглощающей мелодии, того сочетания звуков, которыми тебе никогда не удастся овладеть, если только...

Старик не закончил последней фразы, поражённый дьявольским взглядом ученика, и закрыл лицо руками. Франц тяжело дышал, и выражение его глаз напомнило Клаусу взгляд гиены. Он был смертельно бледен. Какое-то время он не мог говорить и только ловил ртом воздух. Наконец он едва слышно произнёс:

— Ты в этом уверен?

— Конечно, я даже надеюсь тебе помочь.

— И... и ты действительно считаешь, что лишь добыв струны из человеческих кишок, я

смогу соперничать с Паганини?! — спросил Франц после короткой паузы и опустил глаза.

Старый немец открыл лицо и с каким-то странным выражением решимости на нём тихо ответил:

— Нам нужны не просто человеческие внутренности. Они должны принадлежать человеку, который любил нас по-настоящему — бескорыстной святой любовью. Тартини наделил свою скрипку душой девы. Но она умерла от безответной любви к нему. Коварный музыкант заранее приготовил сосуд, в который ему удалось поймать её последний вздох, когда, умирая, она произнесла его дорогое имя; и затем Тартини передал её дыхание своей скрипке. Историю о Паганини ты от меня уже слышал. Он, однако, заручился согласием своей жертвы, чтобы добыть человеческие кишки...

О всемогущий человеческий голос! — продолжал Самуэль после короткой паузы. — Что может сравниться с его красноречием, его пленительным обаянием? Ты полагаешь, мой бедный мальчик, что мне не надо было посвящать тебя в эту великую последнюю тайну, но как же теперь быть, если тебя бросает прямо в объятия к тому... кого не следует поминать ночью? — добавил Клаус, неожиданно возвращаясь к суевериям своей юности.

Франц, не сказав ни слова, с ужасающим спокойствием поднялся, снял со стены свою скрипку, резким и сильным движением оборвал на ней струны и швырнул их в огонь.

Самуэль едва не вскрикнул от ужаса. Струны шипели на углях и, словно живые змеи, извивались и скручивались среди пылающих поленьев.

— Клянусь ведьмами Фессалии и колдовскими чарами Кирки! — воскликнул он, брызгая слюной, с горящими как угли глазами. — Клянусь адскими фуриями и самим Плутоном, о Самуэль, мой учитель, что не притронусь к скрипке до тех пор, пока на ней не будут натянуты четыре человеческие струны! И пусть я буду проклят навеки, если нарушу эту клятву! — и он упал без чувств на пол с глухими рыданиями, которые, стихая, напоминали причитания возле тела усопшего.

Старый Самуэль взял его на руки, словно ребёнка, и отнёс на постель, после чего поспешил за доктором.

После той ужасной сцены Франц тяжело заболел, и заболел почти неизлечимо. Врач нашёл у него воспаление мозга и сказал, что надо приготовиться к худшему. Девять долгих дней больной бредил; и Клаус, который ухаживал за ним, не отходя от его постели ни на минуту, заботясь о нём, как самая нежная мать, пришёл в ужас от деяния рук своих. Впервые со времени их знакомства, благодаря тому, что его ученик впал в бредовое состояние, он смог проникнуть в самые тёмные уголки этой странной, суеверной, холодной и в то же время страстной натуры. И Клаус был потрясён тем, что ему открылось. Он увидел Франца таким, каким тот был на самом деле, а не таким, каким казался посторонним людям. Музыка была смыслом его существования, а похвалы — воздухом, которым он дышал, и без которого жизнь становилась для него тяжким бременем. Лишь струны скрипки были для Стенио источником энергии, но для того, чтобы поддерживать огонь жизни, ему были нужны аплодисменты людей и даже богов. Клаус с изумлением обнаружил искреннюю, артистическую, земную душу, но божественное начало в ней напрочь отсутствовало. У этого питомца муз, наделённого богатым воображением и каким-то рассудочно-поэтическим даром, не было, однако, сердца. Вслушиваясь в этот исступлённый бред, в то, что возникало в больной фантазии Франца, Клаус чувствовал себя так, словно впервые за всю свою долгую жизнь он исследовал удивительную, неизвестную страну — человеческую природу, но не в нашем мире, а на какой-то ещё незавершённой планете. И увидев всё это, Клаус содрогнулся. Не раз за это время он задавался вопросом: а не окажет ли он услугу своему «мальчику», если позволит ему умереть, прежде чем тот придёт в чувство?

Но он слишком сильно любил своего ученика, чтобы долго вынашивать подобную мысль. Франц околдовал его истинно артистическую натуру, и теперь Клаус чувствовал, что их жизни неотделимы одна от другой. Старик никогда не испытывал ничего подобного, поэтому он решил спасти Франца даже ценой своей долгой и, как ему казалось, впустую прожитой жизни.

На седьмой день болезни наступил ужасный кризис. Целые сутки больной не смыкал глаз и не замолкал ни на минуту, находясь в состоянии бреда. Он подробно описывал каждое из своих необыкновенных видений. Фантастические призрачные тени нескончаемой и неторопливой процессией выплывали из полумрака его тесной комнаты, и Франц окликал каждую из них по имени, словно здоровался со своими старыми знакомыми. Себя же он называл Прометеем, ему казалось, что он прикован к скале четырьмя оковами, сделанными из человеческих кишок. У подножия Кавказских гор бежали чёрные воды Стикса... Они покинули Аркадию и теперь пытались окружить семью кольцами скалу, на которой он мучился...

— Хочешь ли ты узнать, как называется Прометеева скала, старик? — прокричал он в ухо своему приёмному отцу. — Тогда слушай... имя ей... Самуэль Клаус...

— Да, да, — печально бормотал немец. — Это я погубил Франца, пытаюсь принести ему утешение. Рассказы о колдовстве Паганини слишком сильно поразили его воображение. О, бедный мой мальчик!

— Ха! Ха! Ха! — больной разразился громким резким смехом. — Ах! Что говоришь ты, бедный старик?... Так, так, ты всё равно ни на что не годен. Ты хорошо бы смотрелся, если тебя натянуть на прекрасную скрипку Кремону!..

Клаус вздрогнул, но ничего не сказал. Он только наклонился к бредившему молодому человеку и, поцеловав его в лоб с нежностью любящей матери, на некоторое время покинул комнату больного, чтобы привести в порядок свои мысли. Когда он вернулся, бред больного перешёл в другую стадию: Франц пытался подражать звучанию скрипки.

А к вечеру этого дня больному стали мерещиться призраки. Он видел духов огня, которые

хватались за его скрипку. Их костлявые руки с пылающими когтями, вырвавшимися из каждого пальца, подзывали старого Самуэля... Они обступали учителя, собираясь растерзать его... «единственного человека на свете, который любит меня бескорыстной возвышенной любовью... чьи кишки могут принести хоть какую-то пользу!» — продолжал бормотать Франц с горящим взором и демоническим хохотом.

На другое утро жар, однако спал, и к концу девятого дня Стенио поднялся с постели, ничего не помня о своей болезни и не подозревая, что позволил Клаусу прочесть свои самые сокровенные мысли. Да и мог ли он знать, что ему пришло в голову принести в жертву своему честолюбию старого учителя? Вряд ли. Единственным непосредственным результатом его роковой болезни стало то, что, поскольку из-за принесённой клятвы его артистический дар не находил себе выхода, в нём проснулась другая страсть, которая могла дать пищу его тщеславию и необузданной фантазии. Он с головой ушёл в изучение оккультных наук, алхимии и магии. Занимаясь магией, молодой мечтатель пытался заглушить тоску по своей, как он полагал, навсегда утраченной скрипке...

Проходили недели и месяцы, однако ни учитель, ни его ученик больше не заговаривали о Паганини. Глубокая печаль овладела Францем. Оба они лишь изредка обменивались друг с другом несколькими словами. Скрипка висела на своём обычном месте — молчаливая, без струн, покрытая толстым слоем пыли. Словно рядом с ними находилось чьё-то бездыханное тело.

Молодой человек помрачнел и стал язвительным, он избегал даже упоминаний о музыке. Однажды, когда его старый учитель после долгих колебаний извлёк свою скрипку из запылённого футляра и приготовился что-нибудь сыграть, Франца передёрнуло, но он промолчал. Однако, едва раздались первые звуки, как в его глазах загорелся сумасшедший огонёк, и Франц бросился вон из дома. Он долго бродил по городским улицам и не возвращался. Тогда Самуэль в свою очередь отшвырнул скрипку и уединился в своей комнате, откуда не выходил до самого утра.

Как-то вечером, когда Франц сидел особенно бледный и угрюмый, старый учитель вдруг вскочил со своего места и, подпрыгивая как сорока, приблизился к ученику, запечатлел у него на лбу нежный поцелуй и взвизгнул каким-то неестественно тонким голосом:

— Не пора ли положить всему этому конец?...

Тогда Франц, выходя из своего обычного летаргического состояния, произнёс будто во сне:

— Да, с этим пора кончать, — после чего они разошлись по своим комнатам и легли спать.

Наутро, когда Франц проснулся, его удивило, что он не видит старого учителя, который обычно приветствовал его, сидя на своём месте. Но за последние несколько месяцев молодой человек сильно изменился и поэтому не придавал вначале особого значения его отсутствию. Он оделся и вошёл в соседнюю комнату, маленькую гостиную, в которой они ели и которая разделяла их спальни. С тех пор как угли в камине потухли прошлой ночью, огонь никто не разжигал, и было видно, что хлопотливые руки старого учителя, обычно занимавшегося домашними делами, нигде не оставили своих следов. Весьма этим озадаченный, но не встревоженный, Франц занял своё привычное место неподалёку от уже остывшего камина и погрузился в бесплодные мечты. Когда же он потянулся в кресле, заложив по обыкновению обе руки за голову — это была его любимая поза, — молодой человек смахнул что-то с полки позади себя, и на пол с грохотом обрушился какой-то предмет.

Это был футляр, в котором лежала старая скрипка Клауса. От удара он раскрылся, и скрипка, выпав из футляра, подкатилась к ногам Франца. Струны, задев о медную решётку камина, издали протяжный, печальный и заунывный звук, напоминающий стон безутешной души. Казалось, он наполнил всю комнату и проник в самое сердце молодого человека. Звон

лопнувшей скрипичной струны произвёл на него магическое действие.

— Самуэль! — закричал Стенио, и неведомый ужас вдруг овладел всем его существом. — Самуэль! Что случилось?... Мой добрый, мой дорогой старый учитель!

Франц устремился в его каморку и с размаху распахнул дверь. Никто не откликнулся, там было тихо. Молодой человек отпрянул назад, напуганный собственным голосом, — столь неузнаваемым и хриплым он показался ему в ту минуту. Франц так и не дождался ответа. Стояла мёртвая тишина, та тишина, которая обычно, если говорить о звуках, указывает на смерть. Когда рядом с вами покойник или когда вас окружает злое безмолвие склепа, подобная тишина обретает таинственную силу, которая наполняет чувствительную душу невыразимым ужасом. В комнате Клауса было темно, и Франц поспешил распахнуть ставни...

Самуэль лежал в своей постели холодный, окоченевший, безжизненный. Увидев труп того, кто так беззаветно его любил, заменив ему отца, Франц пережил чрезвычайно сильное потрясение. Однако честолюбие артиста-фанатика взяло верх над естественным человеческим отчаянием, и очень быстро притупило душевную боль. На столе, неподалёку от кровати, где покоилось мёртвое тело Клауса, на видном месте лежало письмо, на котором было выведено имя Франца. Дрожащей рукой скрипач вскрыл конверт и прочитал следующее:

«Мой нежно любимый сын Франц! Когда ты будешь читать это письмо, я уже принесу величайшую жертву, на которую твой лучший и единственный друг решился ради твоей славы. Перед тобой лежит брэнное тело того, кто любил тебя больше всего на свете. От твоего старого учителя осталась лишь кучка холодного органического вещества. Надеюсь, мне не надо говорить, как тебе следует с ним поступить. Не бойся глупых предрассудков. Я пожертвовал своим телом во имя твоей будущей славы. И ты отплатишь мне самой чёрной неблагодарностью, если эта жертва окажется напрасной. Когда ты заменишь струны на своей скрипке, и в них будет часть моего существа, под твоим смычком скрипка обретёт силу колдуна и запоёт волшебным голосом инструмента Паганини. В ней будет звучать мой голос, мои вздохи и стоны, моя приветственная песня, моё безграничное и скорбное сострадание, моя любовь к тебе. А теперь, мой Франц, не бойся никого. Взяв свой инструмент, неотступно следуй за тем, кто наполнил нашу жизнь горечью и отчаянием!.. Выступай повсюду, где доселе царил он, не зная себе равных, и смело бросай ему вызов. О Франц! Только тогда ты услышишь, с какой магической силой твоя скрипка будет исторгать глубокие звуки беззаветной любви. Быть может, в прощальном прикосновении к её струнам ты вспомнишь, что они заключают в себе частицу праха твоего старого учителя, который обнимает и благословляет тебя в последний раз.

*Самуэль».*

Две жгучие слезы блеснули в глазах Франца, но тут же высохли. В порыве страстной надежды и гордости, будущий артист-чародей, уставился в мертвенно бледное лицо покойника, его глаза светились каким-то дьявольским блеском. Мы не в силах описать то, что последовало вслед за соблюдением юридических формальностей. Поскольку старый учитель предусмотрительно оставил ещё одно письмо, адресованное властям, в протоколе записали: «самоубийство по непонятным причинам», после чего следователь и полицейские удалились, оставив осиротевшего наследника наедине с брэнным телом, в котором ещё недавно горел огонь жизни.

Прошло около двух недель с этого дня, прежде чем со скрипки смахнули пыль и натянули на ней четыре новые струны. Франц боялся даже взглянуть на них. Он попробовал что-то сыграть, но смычок задрожал, словно кинжал в руке у новоиспечённого разбойника. И тогда он решил не прикасаться к скрипке до тех пор, пока ему не представится случай вступить в состязание с Паганини и, может быть, даже его превзойти.

Тем временем знаменитый скрипач, покинув Париж, давал концерты в Бельгии, в одном старом фламандском городе.

Однажды вечером, когда Паганини сидел в ресторане гостиницы, где он остановился, окружённый толпой своих почитателей, молодой человек с пристальным взглядом вручил ему визитную карточку, на которой карандашом было написано несколько слов.

Устремив на незваного гостя свой взор, выдержать который могли немногие, он встретился с таким же спокойным и решительным взглядом, как и его собственный, и, едва заметно кивнув, сухо произнёс:

— Как вам угодно, сэр. Назначьте вечер, я к вашим услугам.

На другое утро горожане с удивлением увидели, что на каждом углу расклеены объявления такого содержания:

«Вечером... (такого-то числа) в помещении... D (такого-то театра) перед публикой впервые выступит Франц Стенио, немецкий скрипач, который приехал специально для того, чтобы бросить вызов всемирно известному Паганини и провести с ним дуэль на скрипках. Он намерен посостязаться с великим виртуозом в исполнении самого сложного из его сочинений. Франц Стенио сыграет „Каприз-фантазию“ Паганини, имеющую также и другое название — „Ведьмы“. Великий музыкант принял вызов».

Афиши произвели на всех поистине магическое впечатление. Паганини, который среди своих громких триумфов никогда не упускал из виду материальных выгод, удвоил входную плату, однако, несмотря на это, театр не мог вместить всех, кому удалось достать билеты на этот незабываемый концерт...

Наконец наступил день концерта; «дуэль» была у всех на устах. Накануне Франц Стенио провёл бессонную ночь, прохаживаясь взад и вперёд по комнате, словно тигр в клетке, но под утро рухнул на кровать в полном изнеможении. Постепенно он погрузился в какое-то тяжёлое забытие. Очнулся он, когда за окном забрезжил хмурый зимний рассвет, но, увидев, что ещё слишком рано, Франц снова задремал. На этот раз ему приснился сон, настолько яркий и правдоподобный, что Франц, поражённый его жутким реализмом, пришёл к выводу, что это было скорее видение, нежели сон.

Он оставил скрипку на столе рядом с кроватью. Инструмент был заперт в футляре, ключ от которого он всегда носил с собой. С тех пор как Франц натянул на скрипке эти ужасные струны, он ни разу на неё не взглянул. И согласно своему решению, после той первой попытки он так и не коснулся смычком человеческих струн и с тех пор упражнялся на другом инструменте. Но теперь, во сне, он увидел себя смотрящим на закрытый футляр. Что-то в нём привлекло к себе внимание Франца, и он понял, что не в силах отвести от футляра взгляда. Вдруг крышка стала медленно подниматься, и в образовавшейся щели Франц разглядел два светящихся зелёных глаза, очень ему знакомых, они глядели на него нежно, почти умоляюще. Затем раздался тонкий, хриплый голос, который словно исходил от этих призрачных глаз. То были глаза и голос Самуэля Клауса. И Стенио услышал: «Франц, милый мой мальчик... Франц, мне никак не удаётся освободиться от... них!» И «они» жалобно зазвенели в футляре. Франц потерял дар речи, охваченный ужасом. Кровь застыла в его жилах, и волосы зашевелились у него на голове. «Это всего лишь сон, нелепый сон!» — успокаивал он себя.

«Я как мог пытался, мой милый Францхен... Я пытался освободиться от этих проклятых струн, да так, чтобы не оборвать их...» Знакомый хриплый голос взмолился: «Помоги мне!» И опять из футляра донёсся звон, ещё более протяжный и скорбный; он расхотелся от стола во

всех направлениях, повинуюсь какой-то внутренней энергии, и напоминал живое существо; однако с каждым натяжением струны звуки становились всё более резкими и отрывистыми. Стенио не в первый раз слышал эти звуки, которые часто доносились до него после того, как он использовал внутренности старого учителя в своих честолюбивых целях. Но всякий раз ощущение ледящего ужаса не позволяло ему доискиваться до причин, их вызывавших, и он старался убедить себя в том, что это были всего лишь галлюцинации.

Но сейчас трудно было отмахнуться от этого явления, происходившего то ли во сне, то ли наяву, да это было и не так уж важно, поскольку галлюцинация — если речь всё же шла о ней — была гораздо более реальной и яркой, чем действительность. Франц хотел что-то сказать, подойти поближе, но, как это часто бывает в кошмарных снах, не мог выдать ни слова, пошевелить пальцем. Его будто парализовало.

Удары и толчки становились всё сильнее, и, наконец, что-то внутри футляра разорвалось с оглушительным звуком. Видение скрипки Страдивари, лишившейся своих волшебных струн, вспыхнуло перед его глазами, и Франца бросило в холодный пот. Он предпринял нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от сковавшего его ужасного видения. И когда невидимый дух умоляюще прошептал: «О, помоги мне освободиться от...», Франц одним прыжком подскочил к футляру, словно разъярённый тигр, защищающий свою добычу, и отчаянным усилием рассеял чары. «Оставь скрипку в покое, ты, старый демон!» — закричал он хриплым, дрожащим голосом.

С яростью захлопнув приподнявшуюся крышку и придавив её левой рукой, он схватил со стола кусочек канифоли и начертил на обтянутой кожей поверхности футляра шестиконечную звезду — знак, которым ещё царь Соломон загонял злых духов обратно в их темницы.

Из футляра донёсся вопль, подобный вою волчицы, оплакивающей своих детёнышей. «Ты неблагодарен, о, как ты неблагодарен, мой Франц! — простонал рыдающий „голос духа“. — Но я прощаю... ибо по-прежнему люблю тебя. Ты больше не сможешь держать меня здесь... мальчик. Смотри же!» И тут футляр и стол окутал серый туман; поднимаясь вверх, он поначалу принимал какие-то неясные очертания. Затем облако стало разрастаться, и Франц почувствовал, как его обвивают холодные, влажные кольца, такие же скользкие, как тело змеи. Он вскрикнул и... проснулся; но оказалось, что Франц лежит не на постели, а возле стола, как это ему приснилось, и отчаянно сжимает обеими руками футляр скрипки. «Впрочем, это был сон...» — пробормотал он, ещё ощущая страх, но уже освободившись от тяжести на сердце.

С большим трудом взяв себя в руки, он отпер футляр, чтобы осмотреть скрипку. Она была в прекрасном состоянии и только покрылась слоем пыли. Франц вдруг почувствовал себя столь же хладнокровным и решительным, как и прежде. Вытерев пыль с инструмента, он тщательно натёр смычок канифолью, подтянул и настроил струны. Он даже попробовал сыграть начало «Ведьм», сначала робко, а потом всё более уверенно и смело водя смычком по струнам.

Звучание этой громкой и одинокой мелодии — вызывающей, словно звук военной трубы завоевателя, нежной и величавой, напоминающей игру ангела на его золотой арфе, — вызвало в душе Франца трепет. Ему открылись возможности, о которых он доселе не подозревал: смычок, порхавший по струнам, извлекал мелодию, поражающую богатством интонаций, которые музыкант никогда раньше не слышал. Начиная с непрерывного легато, смычок пел ему о солнечной надежде и красоте, о прекрасных лунных ночах, когда каждая былинка, всё живое и неживое окутывает нежная благоухающая тишина. В течение нескольких мгновений изливался этот музыкальный поток, красота которого была в состоянии «облегчить страдания» и даже укротить безжалостных злых духов, присутствие которых весьма отчётливо ощущалось в том скромном гостиничном номере. Но внезапно торжественная песнь легато, вопреки всем законам гармонии, затрепетав, переросла в арпеджио и завершилась резким стаккато, похожим на смех



гиены. То же ощущение сковывающего ужаса вновь овладело Францем, и он отбросил смычок в сторону. Музыкант опять услышал знакомый хохот, вынести который ему уже было не под силу. Одевшись, он осторожно положил заколдованную скрипку в её футляр, запер его и, взяв с собой, вышел в гостиную, решив спокойно дожидаться предстоящего испытания.

Роковой час схватки наступил. Стенио стоял на своём месте спокойный, уверенный, едва ли не с улыбкой на лице. Театр был набит до отказа, зрители теснились даже в проходах. Весть о необычном состязании достигла каждого квартала, до которого её смогли донести почтальоны, и деньги потоком посыпались в бездонные карманы Паганини, причём в таком количестве, которое могло удовлетворить даже его ненасытную и корыстолюбивую душу. Было условлено, что первым начнёт Паганини. Когда он вышел на подмостки, толстые стены театра взрогнули до самого основания от бури аплодисментов. Он целиком исполнил своё знаменитое сочинение «Ведьмы», вызвав овацию. Восторженные крики публики не умолкали так долго, что Франц уже начал думать, что его черёд никогда не настанет. Когда же, наконец, Паганини, под гром аплодисментов обезумевших от восторга зрителей, направился за кулисы, его взгляд упал на Стенио, настраивающего свою скрипку; и он был поражён невозмутимым спокойствием и уверенным видом неизвестного немецкого музыканта. Когда Франц приблизился к рампе, его встретило ледяное молчание. Но он несколько не был смущён этим обстоятельством. Франц был очень бледен, но на его тонких побелевших губах застыла язвительная улыбка, которая была ответом безмолвному недоброжелательству публики. Он был уверен в своей победе.

При первых же звуках прелюдии «Ведьм» по залу прокатилась волна удивления. Это была манера Паганини, но и нечто большее. Многие зрители — а их было большинство — сочли, что никогда, даже и в минуты наивысшего вдохновения, итальянский музыкант не исполнял своё сатанинское сочинение с такой необыкновенной дьявольской силой. Под гибкими, сильными пальцами Стенио струны трепетали, точно внутренности выпотрошенной жертвы под скальпелем вивисекциониста. Они издавали мелодичный стон, напоминающий стон умирающего ребёнка. Взгляд огромных синих глаз музыканта, устремлённый на резонатор скрипки, казалось, вызывал самого Орфея из ада, но не звуки, которые должны были рождаться в глубинах скрипки. Можно было подумать, что звуки обретают зримые очертания, превращаясь в существа, вызванные к жизни могущественным волшебником, и кружатся вокруг него, подобно сонму фантастических inferнальных видений, исполняя «козлиную пляску» ведьм. В тёмной пустой глубине сцены за спиной исполнителя разворачивалась непередаваемая словами фантазмагория. Неземные трепещущие звуки, казалось, создавали картины бесстыдных оргий и чувственных гимнов, которым предаются ведьмы на шабаше... Публикой овладела коллективная галлюцинация. Ловя ртом воздух, покрытые холодной испариной и мертвенно-бледные, зрители застыли в неподвижности, не в силах пошевелиться, чтобы рассеять чары этой музыки. Все они предавались тайным и расслабляющим удовольствиям магометанского рая, которыми наслаждается в своём расстроенном воображении мусульманин, потребляющий опиум, и в то же время ощущали малодушный страх, знакомый человеку, борющемуся с приступом белой горячки... Одни дамы визжали, другие падали в обморок, а крепкие на вид мужчины скрежетали зубами в состоянии полной беспомощности... Однако затем настало время финала. Непрекращающийся гром аплодисментов отсрочил его исполнение, затянув короткую паузу почти на четверть часа. Крики «браво» были неистовыми, едва ли не истерическими. Наконец, когда Стенио, чья улыбка была столь же сардонической, сколь и триумфальной, в последний раз низко поклонившись публике, поднял смычок, чтобы приступить к знаменитому финалу, взгляд его упал на Паганини, который с невозмутимым видом сидел в директорской ложе и был безучастен к неистовым овациям. Взор маленьких и пронизательных чёрных глаз генуэзского музыканта был прикован к скрипке Страдивари, которую Франц держал в руках, в остальном же Паганини выглядел спокойным и равнодушным. На какое-то мгновение лицо соперника

встревожило Стенио, но к нему тут же вернулось самообладание, и, взмахнув смычком, он сыграл первую ноту.

Восторг зрителей достиг своей кульминации, теперь уже они действительно все видели и слышали. Голоса ведьм раздавались в зале, но их перекрывал один голос —

*Нестройный, как бы неземной:  
В нём лай собак и волка вой,  
Совы полночной скорбный крик,  
Шипенье змей и тигра рык,  
И ветра стон во тьме лесов,  
И гром средь рваных облаков,  
И грохот волн, что бьются в брег, —  
Всё в нём слилось...*

Волшебный смычок извлекал последние трепетные звуки, требующие необыкновенного мастерства и имитирующие стремительный полёт ведьм, которые спешат скрыться, прежде чем вспыхнет рассвет; порочных женщин, пропитанных парами своих ночных сатурналий. Но вдруг на сцене произошло нечто странное. Без всякого перехода мелодия резко изменилась. Звуки смешались, стали несогласованными, бессвязными... А потом из резонатора скрипки вдруг послышался писклявый и резкий, как у ярмарочного Петрушки, взвизгивающий старческий голос: «Франц, мальчик мой, ты доволен?... Не правда ли, я сдержал своё обещание, а?»

Колдовские чары рассеялись. И хотя нельзя было понять, что же всё-таки происходит, те, кто услышал голос и интонации Петрушки, как по волшебству, освободились от оцепенения, в котором до сих пор пребывали. Теперь изо всех уголков просторного театра доносились взрывы хохота, издевательские реплики, наполовину рассерженные, наполовину раздражённые. Музыканты оркестра, чьи лица ещё сохраняли бледность после пережитого непонятого волнения, теперь тряслись от хохота. Все зрители до единого поднялись со своих мест, всё ещё не в состоянии разрешить эту загадку. Однако они чувствовали такое большое отвращение к произошедшему и их так разбирал смех, что они ни на минуту не могли больше оставаться в этом зале. Вдруг море движущихся голов в партере и яме для оркестра опять застыло в неподвижности, точно поражённое молнией. То, что все увидели, было ужасно: красивое, хотя и безумное лицо молодого музыканта внезапно постарело, а стройный стан сгорбился, словно под бременем лет; но это было ничто в сравнении с тем, что удалось разглядеть наиболее впечатлительным натурам. Фигуру Франца Стенио теперь полностью заволочла похожая на облако полупрозрачная дымка, которая змеилась и всё теснее обступала его, как бы готовясь окончательно поглотить музыканта. В этом зловещем высоком столбе дыма кое-кто распознал чётко обозначившуюся нелепую фигуру ухмыляющегося, отвратительного на вид старика с распоротым животом, из которого вываливались кишки, концы которых были натянуты на скрипке. И тогда в этой туманной, зыбкой пелене показался скрипач, яростно водивший смычком по человеческим струнам. Своим перекошенным лицом он напоминал одержимых бесом, какими их изображали в средневековых соборах.

Неописуемая паника охватила зрителей и, в последний раз рассеяв чары, которые вновь сковали людей, они, как сумасшедшие, ринулись к выходу. Это было похоже на прорвавшуюся плотину. Людской поток издавал нечленораздельные звуки, ревел, взвизгивал, протяжно и жалобно стонал. И в этой безумной какофонии оглушительно, точно кто-то стрелял из пистолета, одна за другой лопнули струны заколдованной скрипки...

Когда зал покинули последние зрители, перепуганный директор кинулся на сцену в поисках незадачливого музыканта. Мёртвый и уже окоченевший, он лежал за рампой, скорчившись в неестественной позе. Его шею обвили «кишечные струны», а сама скрипка разлетелась на мелкие кусочки...

Когда стало известно, что так называемый соперник Никколо Паганини не оставил ни гроша, генуэзец, вопреки своей вошедшей в поговорку скупости, оплатил его гостиничный счёт и на свои деньги похоронил несчастного.

Однако за это он попросил отдать ему обломки скрипки Страдивари на память о том необычайном событии.

# Молчаливый Брат

Удивительная история, которую я собираюсь вам поведать, была рассказана мне одним из ее главных героев. Её подлинность не вызывает сомнения — как бы скептически кто-то ни воспринимал детали её изложения — вследствие трех причин: (а) ее обстоятельства слишком хорошо известны в Палермо и все, произошедшее, до сих пор помнят несколько старожилов; (б) потрясение, которое испытал рассказчик от этого жуткого происшествия, было столь сильным, что его волосы — шевелюра 26-летнего молодого человека — стали белыми как снег за одну ночь, а сам он — буйно помешанным в течении последующих шести месяцев; (в) сохранилась официальная запись предсмертного признания преступника и ее можно найти в семейном архиве Князя ди Р..... В..... По крайней мере, что касается меня, то я ничуть не сомневаюсь в достоверности этой истории.

Глауэрбах был страстным поклонником оккультных наук. Какое-то время, его единственной целью было стать учеником знаменитого Калиостро, который проживал тогда в Париже, приковав к себе всеобщее внимание; но таинственный Граф с самого начала отказался иметь с ним дело. Почему он не захотел принять в ученики молодого человека из хорошей семьи и очень умного, было тайной, которую Глауэрбах — кто поведал нам эту историю — так никогда и не смог разгадать. Достаточно сказать, что он лишь смог уговорить «Великого Копта» научить его, в какой-то степени, читать тайные мысли людей, с которыми он общался, заставляя их высказывать эти мысли вслух, даже не сознавая, что их губы произносят какой-либо звук. Но даже эту, сравнительно легкую магнетическую ступень оккультной науки, он так и не смог до конца освоить.

В те дни, Калиостро и его таинственные способности были у всех на устах. Париж буквально лихорадило. В Суде, в обществе, в Парламенте, в Академии говорили только о Калиостро. О нем рассказывали самые невероятные истории и чем невероятнее они были, тем охотнее в них верили. Говорят, что в своих магических зеркалах Калиостро показывал события будущего некоторым из наиболее выдающихся государственных деятелей Франции и что все эти события потом действительно имели место. Король и королевская семья были среди тех, кому было позволено заглянуть в неизвестное. «Маг» вызывал тени Клеопатры и Юлия Цезаря, Магомета и Нерона. Чингиз Хан и Карл V имели встречу с шефом полиции, а чтобы развеять сомнения внешне набожного, но втайне скептического архиепископа, был вызван один из богов, который однако не материализовался, ибо никогда не существовал во плоти. Мармонтель выразил желание встретиться с Белисером, но увидев как великий воин поднимается с земли, упал без чувств. Молодой, дерзкий и страстный Глауэрбах, чувствуя, что Калиостро никогда не поделится с ним своим великим знанием, но, в лучшем случае, бросит ему лишь несколько крох, начал поиски в другом направлении и, наконец, нашел лишнего духовного сана аббата, который, за определенную мзду, взялся обучить его всему, что знал сам.

Через несколько месяцев (?) он уже владел тайнами черной и белой магии, то есть искусством умело одурачивать простаков. Он также посетил Месмера и его ясновидящих, которых стало значительно больше в то время. Приобретшее дурную славу, французское общество 1785 года чувствовало, что роковой конец близок; оно страдало от хандры и жадно хваталось за все, что несло с собой перемену, убивая пресыщенность и летаргическую монотонность. Оно стало таким скептическим, что, не веря ни во что, кончило, наконец, верой во все. Глауэрбах, под опытным руководством своего аббата, принялся злоупотреблять человеческой доверчивостью. Но он едва пробыл в Париже восемь месяцев, как полиция отечески порекомендовала ему отправиться за границу — ради собственного здоровья. И не

было никакой возможности увильнуть от этого совета. Каким бы удобным местом ни была столица Франции для опытных колдунов-лекарей, она менее всего подходила для новичков. Он покинул Париж и отправился, через Марсель, в Палермо.

В этом городе умный ученик аббата познакомился и завязал дружбу с маркизом Гектором, младшим сыном князя Р..... В....., принадлежавшего к одной из самых богатых и знатных семей Сицилии. Тремя годами ранее, огромное бедствие обрушилось на этот дом. Старший брат Гектора, герцог Альфонсо, бесследно исчез; и старый князь, наполовину убитый горем, оставил свет, уединившись в своей великолепной вилле в окрестностях Палермо, где и проводил жизнь отшельником.

Молодой маркиз умирал от скуки. Не зная, что же еще с собой сделать, он начал изучать, под руководством Глауэрбаха, магию или по крайней мере то, что умный немец преподносил под этим названием. Учитель и ученик стали неразлучны.

Поскольку Гектор был вторым сыном князя, то, пока был жив его старший брат, у него был один-единственный выбор — либо пойти в армию, либо вступить в лоно церкви. Все богатство семьи переходило в руки герцога Альфонсо Р..... В..... который был, кроме того, помолвлен с Бьянкой Альфиери, богатой сиротой, ставшей в десять лет наследницей огромного состояния. Эта свадьба объединяла богатство обоих домов Р..... В..... и Альфиери, о ней условились еще когда Альфонсо и Бьянка были детьми, даже не думая о том, полюбят ли они друг друга. Судьба, однако, решила, что так тому и быть и между молодыми людьми вспыхнула взаимная и страстная любовь.

Так как Альфонсо был слишком молод для женитьбы, его отправили путешествовать и он отсутствовал более четырех лет. По его возвращении начались приготовления к свадьбе, которая, по замыслу князя, должна была стать будущей поэмой Сицилии. Ее намеревались отпраздновать очень пышно. Самые богатые и знатные люди страны собрались за два месяца до свадьбы и им устраивали королевские приемы в фамильном особняке, что занимал целую площадь старинного города, ибо все они, в той или иной степени, находились в родственных связях либо с семейством Р..... В..... либо Альфиери, во втором, четвертом, двадцатом или шестидесятом колене. Приехала толпа незваных голодных поэтов и импровизаторов, дабы воспеть, следуя местным обычаям тех дней, красоту и добродетели молодоженов. Ливорно отправил корабль с грузом сонетов, а Рим — благословения Папы. Толпы любопытных, желающих увидеть свадебную процессию, прибыли в Палермо из самых отдаленных уголков страны, также как и целые полки карманников, готовых при каждом удобном случае поупражняться в своей профессии.

Свадебная церемония была назначена на среду. Во вторник жених исчез, не оставив ни малейшего следа. Полиция целой страны была поставлена на ноги. Но, господи, все бесполезно! В течении нескольких дней Альфонсо ездил в Монте-Кавалли — его собственную прекрасную виллу — чтобы лично следить за приготовлениями к приему его очаровательной невесты, с которой он должен был провести свой медовый месяц в этой прелестной деревушке. Во вторник вечером он отправился туда один, верхом, как обычно, чтобы вернуться рано утром на следующий день. Около десяти часов вечера его повстречали двое contadini и поздоровались с ним. Они были последними, кто видел молодого герцога.

Позднее было установлено, что в ту ночь в водах Палермо курсировало пиратское судно; что пираты сошли на берег и увели с собой несколько сицилийских женщин. В конце прошлого столетия сицилийские женщины считались очень ценным товаром: они пользовались огромным спросом на рынках Смирны, Константинополя и Барбари Кост; богатые паши платили за них колоссальные деньги. Кроме хорошеньких сицилийских женщин, пираты имели обыкновение также похищать и богатых людей, требуя за них потом выкуп. Бедные люди, попавшись,

разделяли судьбу рабочей скотины и питались поркой. Все в Палермо были твердо убеждены, что молодого Альфонсо похитили пираты; и это было не так уж невероятно. Верховный Адмирал Сицилийского Флота тотчас отправил в погоню за пиратами четыре быстроходных судна, выделявшихся среди других высокой скоростью. Старый князь обещал горы золота тому, кто вернет ему сына и наследника. И как только небольшая эскадра была готова к отплытию, она расправила свои паруса и исчезла за горизонтом. На одном из кораблей был Гектор Р..... В.....

Когда опустились сумерки, вахтерные матросы, стоявшие на палубе, все еще ничего не видели. Затем ветер посвежел и уже к полуночи дул с ураганной силой. Один из кораблей вернулся в порт немедленно, двое других исчезли из виду еще до шторма и о них уже больше ничего не слышали, а тот, на котором был молодой Гектор, вернулся два дня спустя, полной развалиной и без снаряжения, в Трапани.

За ночь до этого, смотрители одного из маяков на побережье видели вдалеке бриг без мачты, парусов или флага, который неистово бросало по гребням волн разбушевавшегося моря. Они подумали, что это был бриг пиратов. Он пошел ко дну у них на глазах и молва распространила весть, что все, кто был на корабле, до последнего человека, погибли.

Несмотря на все это, старый князь разослал своих эмиссаров во все стороны — в Алжир, Тунис, Марокко, Триполи и Константинополь. Но они ничего не обнаружили; и когда Глауэрбах прибыл в Палермо, со времени этого случая прошло уже три года.

Князь, хотя и потерял сына, не лелеял мысль потерять богатство Альфиери. Он решил выдать Бьянку замуж за своего второго сына, Гектора. Но прекрасная Бьянка все время рыдала и оставалась безутешной. Она отвергла это предложение сразу же и объявила, что останется верной своему Альфонсо.

Гектор вел себя как истинный рыцарь. «Зачем же делать Бьянку еще более несчастной, досаждая ей своими мольбами? Возможно, мой брат все еще жив» — говорил он. «Как же я тогда могу, в силу такой неопределенности, лишать Альфонсо, если он вернется, его лучшего сокровища, той, которая дороже ему самой жизни!»

Тронутая таким проявлением благородных чувств, Бьянка стала проявлять меньше безразличия к брату своего Альфонсо. Старик не терял надежды. К тому же, Бьянка была женщиной; а у женщин Сицилии, так же как и повсюду в мире, отсутствующие всегда виновны. Наконец она обещала, если когда-либо получит убедительное доказательство того, что Альфонсо действительно мертв, выйти замуж за его брата или — ни за кого. Таково было состояние дел, когда Глауэрбах — хваставший, что может вызывать призраки мертвых — появился в княжеской, отныне мрачной и безлюдной загородной вилле Р..... В..... Он не пробыл там и двух недель, как снискал всеобщую любовь и восхищение. Все таинственное и оккультное, и особенно сношения с миром неведомого, «безмолвной страной», влечет к себе всех, и особенно отчаявшихся. Однажды старый князь набрался храбрости и попросил лукавого немца рассеять их мучительные сомнения. Мертв Альфонсо или жив? Вот это была вопрос. Подумав несколько минут, Глауэрбах ответил таким образом: — «Князь, то, что вы просите сделать для вас, очень важно...И это действительно так. Если вашего несчастного сына нет в живых, я мог бы вызвать его призрак; но не будет ли потрясение слишком сильным для вас? И согласятся ли на это ваш сын и ваша воспитанница — очаровательная графиня Бьянка?»

«Все, что угодно, но только не мучительная неопределенность,» ответил старый князь. Итак, было решено, что вызывание духа произойдет ровно через неделю. Услышав об этом, Бьянка лишилась чувств. Когда ее удалось привести в сознание при помощи многочисленных снадобий, любопытство взяло верх над сомнениями. Ведь она была дочерью Евы, как и все женщины. Гектор вначале всеми силами противился тому, что он считал кощунством. Он не

хотел нарушать покой своего дорогого умершего брата; сначала он сказал, что если его любимый брат действительно мертв, он предпочитает ничего об этом не знать. Но, в конце концов, его все возрастающая любовь к Бьянке и желание угодить своему отцу взяли верх над всем остальным и он также согласился.

Неделя, которая потребовалась Глауэрбаху для подготовки и очищения, казалась вечностью нетерпению всех троих. Пройди еще день, и они бы все сошли в ума. Между тем, колдун не терял зря времени. Подозревая, что когда-нибудь к нему обратятся с подобной просьбой, он с самого начала стал собирать малейшие подробности о жизни покойного Альфонсо и очень внимательно изучил его портрет в натуральную величину, который висел в спальне старого князя. Этого было достаточно для его цели. Чтобы придать больше торжественности происходящему, он предписал всей семье соблюдать суровый пост и молиться, день и ночь, в течение всей недели. Наконец, долгожданный час настал и князь, в сопровождении своего сына и Бьянки, вошел в комнату колдуна. Глауэрбах был бледен и серьезен, но спокоен. Бьянка дрожала с головы до пят и все время держала наготове флакончик с ароматической солью. Князь и Гектор походили на двух преступников, которых вели на казнь. Огромная комната освещалась одной единственной лампой, но даже этот тусклый свет вдруг внезапно потух. В кромешной тьме было слышно как скорбный голос заклинателя произнес на латыни короткую каббалистическую формулу и, наконец, приказал тени Альфонсо появиться — если, конечно, она действительно пребывала в стране теней.

Внезапно тьма, окутывавшая дальний альков комнаты, озарилась слабым голубоватым светом, который, постепенно разрастаясь, превратился на глазах у присутствующих в большое магическое зеркало, которое, казалось, было покрыто густым туманом. В свою очередь, туман этот постепенно стал рассеиваться и, наконец, взору присутствующих предстала фигура человека, лежащего ничком. Это был Альфонсо! На нем было то же самое платье, что и в тот вечер, когда он исчез; тяжелые цепи сковывали его руки и он лежал, бездыханный, на берегу моря. Вода стекала с его длинных волос и окровавленной, разорванной одежды, затем накатила огромная волна и, поглотив его, все внезапно исчезло.

В течение всего этого ужасного видения царил мертвая тишина. Дрожь била всех присутствующих, которые с трудом переводили дыхание; затем все погрузилось во тьму и Бьянка, издав слабый стон, упала без чувств в объятия своего опекуна.

Шок оказался слишком сильным. Юная леди получила воспаление мозга и в течение нескольких недель была на грани жизни и смерти. Князь чувствовал себя не намного лучше; а Гектор не покидал своей комнаты в течение двух недель. Сомнений не было — Альфонсо был мертв, он утонул. Стены дворца завесили черным полотном, окропленным горячими слезами. В течение трех дней колокола многих церквей Палермо оплакивали несчастную жертву пиратов и моря. Внутри величественного собора все было также покрыто черным бархатом, от пола до купола. Две тысячи пятьсот тонких восковых свечей мерцало вокруг катафалка и кардинал Оттобони, при помощи пяти епископов, в течение долгих шести недель каждый день совершал службу по покойному. Четыре тысячи дукатов бросили как милостыню бедным, толпившимся у входа в собор, и Глауэрбах, одетый в соболью мантию словно принадлежал к этой семье, представлял на похоронах ее отсутствующих членов. Глаза у него были красными и когда он закрывал их своим надушенным носовым платком, все, стоявшие рядом с ним, слышали его конвульсивные рыдания. Никогда еще святотатственная комедия не была разыграна лучше.

Вскоре после этого, в память об Альфонсо, в церкви святой Розалии воздвигли величественный монумент из чистейшего Каррарского мрамора, украшенный двумя аллегорическими фигурами. На саркофаге, по приказу старого князя, были высечены высокопарные надписи на греческом и латыни.



Через три месяца поползли слухи, что Бьянка выходит замуж за Гектора. Глауэрбах, который в это время путешествовал по Италии, вернулся в Монте-Кавалли накануне свадьбы. Он везде демонстрировал свои замечательные колдовские способности и «святая» Инквизиция гналась за ним буквально по пятам. Он чувствовал себя в полной безопасности лишь в кругу семьи, которая его обожала и почитала полубогом.

На следующее утро многочисленные гости отправились в церковь, которая блистала серебром и золотом и была украшена так, будто праздновалась королевская свадьба. Каким счастливым выглядел жених! Какой хорошенькой была невеста! Старый князь рыдал от радости, а Глауэрбаху была оказана честь быть шафером Гектора.

В саду были раскинuty огромные банкетные столы, за которыми развлекались вассалы обеих семей. Пирь Гаргантюа были менее обильными, чем это празднество. Вместо воды, в пятидесяти фонтанах струилось вино; но к заходу солнца уже никто не мог больше пить, ибо к несчастью — для некоторых — человеческая жажда не бесконечна. Жареных фазанов и куропаток десятками выбрасывали соседним собакам, которые к ним тоже не притрагивались, поскольку даже они уже были сыты по горло.

Вдруг, среди веселящейся, пышной толпы, появился новый гость, приковавший к себе всеобщее внимание. Это был мужчина, худой как скелет, очень высокий и одетый в платье ордена кающихся монахов или «молчальников», как их называют в народе. Это платье состоит из длинного, ниспадающего свободными складками, серого шерстяного одеяния, подпоясанного веревкой, на обоих концах которой висят человеческие кости, и капюшона, полностью закрывающего лицо, кроме двух дырочек, прорезанных для глаз. Среди множества орденов кающихся монахов, существующих в Италии — черных, серых, красных и белых кающихся грешников — ни один не вселяет такого инстинктивного ужаса как этот. Кроме того, никто не имеет права обратиться к кающемуся брату, пока на его лицо накинута капюшон. Кающийся не только имеет полное право, но он обязан оставаться для всех неизвестным.

Таким образом, никто не заговаривал с этим таинственным братом, который столь неожиданно появился на свадебном торжестве и, казалось, следовал за молодоженами, словно был их тенью. И Гектор, и Бьянка вздрагивали каждый раз, когда оборачивались, чтобы взглянуть на него.

Солнце уже садилось и старый князь, в сопровождении своих детей, в последний раз обходил банкетные столы в саду. Остановившись у одного из них, он поднял бокал вина и воскликнул: «Друзья мои, давайте выпьем за здоровье Гектора и его жены Бьянки!»

Но, в тот самый миг, кто-то схватил его за руку и остановил ее. Это был, одетый во все серое, «молчальник.» Незаметно появившись из толпы, он подошел к столу и тоже поднял бокал.

«А нет ли еще кого, старик, кроме Гектора и Бьянки, за чье здоровье ты хотел бы выпить?» — спросил он низким, грудным голосом, — «А где твой сын Альфонсо?»

«Разве ты не знаешь, что он мертв?» — уныло ответил князь.

«Да!...мертв — мертв!» повторил монах. «Но если бы он вновь мог услышать голос, который слышал в момент своей жестокой смерти, я думаю он смог бы ответить...ах... даже из самой могилы... Старик, позови сюда своего сына Гектора!...»

«О боже! Что вы... что вы хотите этим сказать!» — (все это легче вообразить, чем описать) через минуту воскликнул князь, мертвенно-бледный от невыразимого ужаса.

Бьянка была на грани обморока. Гектор, еще более посиневший, чем его отец, с трудом стоял на ногах, и, наверное, упал бы, если бы его не поддерживал Глауэрбах.

«В память об Альфонсо!» медленно произнес тот же скорбный голос.

— «Пусть все повторяют эти слова за мной! Гектор, герцог Р..... В..... я приглашаю тебя произнести их!...»

Гектор сделал отчаянное усилие и, утирая свои дрожащие губы, постарался открыть рот. Но его язык прилип к небу и он не мог проронить ни звука. Он был бледен как смерть, а изо рта текла слюна. Наконец, после нечеловеческой борьбы со своей слабостью, он пробормотал, «В память об Альфонсо!...»

«Голос моего убийцы!...» воскликнул монах грудным, но отчетливым голосом.

Произнеся эти слова и откинув назад свой капюшон, он разорвал свое платье и взору оцепеневшей от ужаса толпы предстал призрак Альфонсо, на его груди зияло четыре глубокие раны, из которых ручейками сочилась кровь!

Крики ужаса, испуг присутствующих... сад опустел; вся толпа, опрокидывая столы, неслась прочь, как от смерти... Но более всего странным было то, что Глауэрбах, несмотря на свое близкое знакомство с покойниками, был более всех охвачен паникой. Некромант, вызывавший духов по собственному усмотрению, увидев настоящего призрака и услышав, что тот говорил как живой, упал без чувств на клумбу с цветами; когда его подобрали позже той же ночью, он был совершенно безумен и оставался таковым в течении ряда месяцев.

Лишь спустя полгода он узнал, что последовало за этой ужасной сценой. Бросив свое обвинение, монах исчез у всех на глазах, а Гектора, бившегося в страшных конвульсиях, отнесли в его комнату, где, спустя час, призвав к себе своего духовника, он заставил его записать за ним признание, а подписав его, принял, прежде чем его смогли остановить, ядовитое содержимое перстня с печаткой и испустил дух почти мгновенно. Старый князь последовал за ним в могилу через две недели, оставив все свое состояние Бьянке. Но несчастная девушка, на чью молодость обрушились две такие трагедии, нашла прибежище в монастыре и все ее огромное состояние перешло в руки Иезуитов. Повинуясь своему сну, она выбрала отдаленный и уединенный уголок в огромном саду Монте-Кавалли в качестве места для величественной часовни, которую она построила как памятник искупления страшного преступления, положившего конец древнему роду князей Р.....

В..... Вынимая грунт, рабочие обнаружили старый, высохший колодец, а в нем скелет Альфонсо, с четырьмя ножевыми ранами в его полуистлевшей груди и обручальным кольцом Бьянки на пальце.

Сцена, подобная той, что описана выше в день свадьбы, может потрясти даже самого закоренелого скептика. Выздоровев, Глауэрбах навсегда оставил Италию и вернулся в Вену, где поначалу ни один из его друзей не мог узнать в этом постаревшем, одряхлевшем, с белыми как снег волосами молодого человека, которому едва исполнилось 26. Он навсегда покончил с вызыванием духов и знахарством, но с того времени стал твердо верить в бессмертие человеческой души и ее оккультные силы. Он умер в 1841 году, честным и исправившимся человеком, не проронив ни слова об этой таинственной истории. Лишь в последний год его жизни, некое лицо, которое завоевало его полное доверие тем, что оказало ему определенную услугу, узнало от него подробности поддельного видения и настоящей трагедии, постигшей род Р..... В.....

# Легенда о Голубом Лотосе

Название каждого журнала или книги должно иметь какой-то смысл, и особенно это относится к публикациям теософским. Заглавие обязано ясно обозначить предмет рассмотрения, выражая, так сказать, смысл статьи. Поскольку аллегория является душой восточной философии, можно не согласиться с тем, что в названии «Le Lotus Bleu» ничего нет кроме названия водного растения — *Nymphaea caerulea* или *Nelumbo*. В дальнейшем читатели такого сорта ничего не разглядели бы, кроме голубого цвета листа оглавления нашего журнала.

Дабы избежать такого неверного понимания, мы постараемся ввести наших читателей в общий символизм лотоса, и особенно — голубого лотоса. Это таинственное и священное растение в течение веков рассматривалось и в Египте, и в Индии как символ Вселенной. Нет ни одного монумента в долине Нила, ни одного папируса без изображения этого растения на почётном месте. На капителях египетских колонн, на тронах и даже на головных уборах божественных царей — везде присутствует лотос как символ Вселенной. Он неминуемо становится обязательным атрибутом любого созидającego бога, как и любой созидающей богини, поскольку с философской точки зрения последние являются женским аспектом бога, вначале двуполого, затем мужского рода.

Именно из Падма-Йони, «сердца лотоса», из Абсолютного Пространства, из Вселенной вне времени и пространства эманурует Космос, обусловленный и ограниченный пространством и временем. Хиранья Гарбха, золотое «яйцо» (или лоно), из которого появляется Брама, часто называют Небесным Лотосом. Бог Вишну — синтез Тримурти, или индийской Троицы, — в течение «ночей Брамь» плавает, спящий, в первозданных водах, раскинувшись на цветке лотоса. Его богиня, прекрасная Лакшми, подобно Венере-Афродите, поднимаясь из глубин вод, ногами опирается на белый лотос. Именно в результате вспенивания Молочного Океана — символа Космоса и Млечного Пути — собравшимися вместе богами перед их изумленными взорами явилась, Лакшми, богиня Красоты и Мать Любви (Кама), возникшая из пены бушующих волн, рождённая на лотосе и держащая в руке другой.

Так возникли два основных имени Лакшми: Падма-Лотос и Кширабди-Таная, — Дочь Молочного Океана. Гаутаму Будду никогда не низводили до уровня бога, несмотря на тот факт, что в историческое время он был первым смертным, достаточно бесстрашным, чтобы расспрашивать безмолвного Сфинкса, которого мы называем Вселенной, и полностью вырвать у него тайны Жизни и Смерти. И хотя, повторяем, его никогда не обожествляли, целые поколения в Азии признавали его Владыкой Вселенной. Именно поэтому победитель и учитель мира мысли и философии представлен сидящим на полностью распустившемся лотосе, символе Вселенной, до конца постигнутой им. В Индии и на Цейлоне лотос обычно золотистого цвета, у северных буддистов — голубой.

Но в одной части света существует третий род лотоса — *Zizyphus*. Как говорят древние, тот, кто отведаёт его, забывает свою родину и тех, кто дорог ему. Давайте не будем следовать такому примеру. Давайте не забывать наш духовный дом, колыбель человеческой расы, место рождения голубого лотоса.

А теперь давайте приподнимем покров забвения, покрывающий одну из самых древних аллегорий — ведическую легенду, которую, однако, сохранили браминские летописцы. Лишь потому, что летописцы излагали эту легенду каждый на свой манер, добавля свои собственные изменения<sup>[1]</sup>, мы приводим этот рассказ здесь не согласно неполным толкованиям и переводам этих восточных господ, но согласно общепринятой версии. Такой поют её старые певцы Раджастана, когда они влажными вечерами сезона дождей приходят и садятся на веранде

бунгало путешественника. Давайте же оставим востоковедов на милость их фантастических спекуляций. Какая нам разница, Харишандрой или Амбаришей зовут эгоистичного и трусливого принца, ставшего причиной превращения белого лотоса в голубой?

Имена не имеют ничего общего ни с наивной поэзией легенды, ни с её моралью — ибо, если поискать хорошенько, можно найти и мораль. Мы скоро увидим, что основной эпизод истории странно напоминает другую легенду — историю об Аврааме и жертвоприношении Исаака в Библии. Разве это не является доказательством того, что Тайная Доктрина Востока имеет веское основание утверждать, что имя патриарха не было ни халдейским, ни иудейским, но скорее эпитетом и санскритской фамилией, означающей а-брам, то есть тот, кто не является брамином<sup>[2]</sup>, дебраминизированный брамин, тот кто опустил или лишился своей касты?

Если столь многие легенды Южной Индии соответствуют библейским сказаниям, как можем мы избежать подозрения, что среди современных иудеев можно обнаружить халдеев времён Риши Агастья — этих каменщиков, гонения на которых начались от восьмиста до тысячи лет назад, но кто переселился в Халдею за четыре тысячи лет до христианской эры? Луи Жаколио говорит об этом в нескольких из своих более чем двадцати томов о браманической Индии, и он прав в этом.

Об этом мы поговорим в другой раз. А между тем вот — «Легенда о Голубом Лотосе».

Век за веком протекли с тех пор, как Амбариша, царь Айодхьи, правил в городе, основанном святым Ману Вайвасвата, потомком Солнца. Царь был Сурьяванши (потомок Солнечной династии), и он признавал себя самым преданным слугой бога Варуны<sup>[3]</sup>, величайшего и могущественнейшего божества в «Ригведе». Но бог отказал своему слуге в наследнике, и это делало царя несчастным.

— Увы, — стонал он каждое утро, совершая пуджу младшим богам, — увы! Что проку быть величайшим царем на земле, если бог отказывает мне в наследнике моей крови? Когда я умру и меня возложат на погребальный костёр, кто исполнит благочестивые обязанности сына и разобьёт мой безжизненный череп, дабы освободить мою душу от земных пут? Какая чужая рука в полнолуние положит рис церемонии Шрадда<sup>[4]</sup>, чтобы выказать почтение моей тени? Не отвернутся ли и сами птицы смерти<sup>[5]</sup> от погребального пира? Ибо, несомненно, моя тень, в своём великом огорчении привязанная к земле, не позволит им принять в нём участие.

Царь скорбел таким образом, когда жрец его семьи внушал ему мысль дать обет. Если бог пошлёт ему двух и более сыновей, он должен на публичной церемонии дать обет принести ему в жертву старшего сына, когда тот достигнет зрелости.

Привлечённый этим обещанием жертвоприношения плоти в огне, — особый аромат которой весьма приятен старшим богам, — Варуна принял обещание царя, и счастливый Амбариша получил сына, а за ним несколько других. Старший сын, в то время наследник престола, звался Рохитой (красный) и имел другое имя — Деварата, которое буквально означает богом данный. Деварата рос и скоро стал истинным принцем. Он был очарователен, но если верить легенде, — столь же эгоистичен и лжив, сколь и прекрасен.

Когда принц достиг назначенного возраста, бог, говоря устами всё того же придворного жреца, потребовал, чтобы царь сдержал своё обещание, но тот каждый раз находил какой-нибудь предлог отложить жертвоприношение, и бог наконец разгневался. Будучи богом ревнивым и гневливым, он грозил царю всем своим божественным гневом.

В течение длительного времени ни повеления, ни угрозы не приводили к желаемому результату. До тех пор пока оставались священные коровы, чтобы передавать их в хлева браминов, до тех пор пока в сокровищнице оставались деньги, чтобы пополнять тайники храма, браминам удавалось сохранять Варуну в спокойствии. Но когда не осталось больше коров, когда не осталось больше денег, бог пригрозил низвергнуть царя, его дворец и его наследников, а если

они спасутся, — сжечь их живьём. Бедный царь, оказавшийся на пределе своих возможностей, призвал своего первенца и сообщил ему о судьбе, ждущей его. Но Деварата остался безразличен к этому известию. Он отказался подчиниться двойной — родительской и божественной — воле.

Так что когда жертвенные костры были зажжены и все добропорядочные горожане Айодхьи собрались, возбуждённые, — престолонаследника не оказалось на этом празднестве. Он скрылся в лесах йогов.

В те времена в этих лесах жили святые отшельники, и Деварата знал, что там он будет недосягаем и неуязвим. Его могут видеть там, но никто не сможет применить к нему силу — даже сам бог Варуна. Это было простое решение. Религиозный аскетизм араньяка (святых людей из лесов), часть из которых была дайтья (титаны, раса великанов и демонов), давал им такое влияние, что все боги трепетали перед ними и их сверхъестественными силами — даже сам Варуна.

Эти древние йоги, кажется, обладали достаточной силой, чтобы по желанию сокрушить даже самого бога, — вероятно, потому, что они сами же и открыли его.

Деварата провёл в лесах несколько лет, и в конце концов он устал от такой жизни. Узнав, что мог бы удовлетворить Варуну, найдя себе замену — того, кто принесёт себя в жертву вместо него при условии, что жертва будет сыном Риши, — он пустился в путь и наконец нашёл то, чего искал.

В стране, раскинувшейся на усыпанных цветами берегах знаменитого Пушकारа<sup>[6]</sup>, жил тогда один весьма святой человек, звавшийся Аджигарта<sup>[7]</sup>, и был он на пороге гибели от голода, как и вся его семья. У него было несколько сыновей, второй из которых, Сунасефа, добродетельный молодой человек, к тому же сам готовился стать Риши. Пользуясь его бедностью и имея все основания думать, что голодный желудок должен внимать с большей готовностью, чем сытый, коварный Деварата поведал его отцу свою историю. После этого он предложил ему сто коров в обмен на Сунасефу как заместительную жертву в огненном жертвоприношении на алтарь богов.

Добродетельный отец сначала решительно отказался, но благородный Сунасефа сам добровольно предложил себя и обратился к своему отцу, говоря следующее:

— Какое значение имеет жизнь одного человека, если она может спасти жизни многих других? Этот бог — великий бог, и его сострадание безгранично, но он также очень ревнив, и его гнев поспешен и мстителен. Варуна — Владыка Страха, и Смерть послушна его велениям. Его дух будет вечно бороться с тем, кто непокорен ему. Он раскается в том, что создал человека, а затем сожжёт живьём сотню тысяч лакхов<sup>[8]</sup> невинных людей из-за единственного человека, который один виноват. Если его жертва скроется от него, он осушит наши реки, пошлет огонь на наши земли и погубит наших женщин, которые ждут детей.

Так позволь мне принести себя в жертву, о мой отец, вместо того чужестранца, который предлагает нам сотню коров. Это стадо позволит тебе и моим братьям не умереть от голода и спасёт тысячи других людей от ужасной смерти. За эту цену радостно отдать свою жизнь.

Старый Риши уронил несколько слезинок, но, наконец, уступил и начал готовить жертвенный погребальный костёр.<sup>[9]</sup>

Озеро Пушकारа было одним из тех мест на земле, что особо любимы богиней Лакшми-Падма (Белый Лотос); она часто погружалась в чистые воды, чтобы посетить свою старшую сестру Варуни, супругу бога Варуны<sup>[10]</sup>. Лакшми-Падма услышала предложение Девараты, была свидетелем отчаяния отца и восхитилась сыновней преданностью Сунасефы. Исполненная сострадания, Матерь Любви и Сострадания послала за Риши Висвамित्रа, одним из семи изначальных Ману, и смогла заинтересовать его жребием своего подзащитного. Великий Риши обещал ей своё содействие. Явившись Сунасефе, но незримая для всех остальных, она научила



его двум священным стихам (мантрам) из «Ригведы», взяв с него обещание произнести их на жертвенном костре. А тот, кто произносит вслух эти мантры (заклинания), вынуждает весь сонм богов во главе с Индрой собраться для своего спасения и вследствие этого сам становится Риши в этой жизни или в следующем воплощении.

Алтарь был воздвигнут на берегу озера, жертвенный костёр был готов, и толпа собралась. Уложив своего сына на благоухающее сандаловое дерево и привязав его, Аджигарта взялся за нож для жертвоприношений. Он уже занёс свою дрожащую руку над сердцем возлюбленного сына, когда юноша начал нараспев читать священные стихи. И вновь пришёл момент колебания и величайшего горя, а когда юноша завершил свою мантру, старый Риши погрузил свой нож в грудь Сунасефы.

Но, о чудо! В этот самый момент Индра, бог Голубого Свода (Вселенной), сошёл с небес и опустился как раз в центре церемонии. Окружив жертвенный костёр и жертву густым голубым туманом, он распустил верёвки, связывавшие молодого пленника. Казалось, что часть лазурного неба опустилась на это место, осветив всю округу и окрасив в золотисто-голубой цвет всё место действия. В ужасе все присутствовавшие, и даже сам Риши, пали ниц, полумёртвые от страха.

Когда они пришли в себя, туман рассеялся, а место действия полностью изменилось.

Огни жертвенного костра возгорелись сами собой, и простёртой на них лежала лань (рохит)<sup>[11]</sup>, бывшая не кем иным, как принцем Рохитой-Деваратой, который горел сам, поражённый в сердце ножом, направленным им против другого, как жертвоприношение за свои грехи.

Несколько поодаль от алтаря, также простёртый, но на ложе из лотосов, лежал и спокойно спал Сунасефа, а на его груди, в том месте, где опустился нож, распустился прекрасный голубой лотос. Само озеро Пушकारа, за мгновение до того покрытое белыми лотосами, чьи лепестки сияли на солнце подобно серебряным чашам, наполненным влагой Амриты, теперь отражали голубизну небес — белые лотосы стали голубыми.

Потом подобный звуку вины, поднявшемуся из пучины вод, послышался мелодичный голос, изрёкший такие слова и такое проклятие:

«Принц, который не знает, как умереть для своих подданных, не достоин править детьми Солнца. Он родится снова в расе рыжеволосых людей, в грубой и эгоистичной расе, и у народов, которые произойдут от него, наследие всегда будет в упадке. А вместо него станет царём и будет править младший сын нищенствующего отшельника».

Шёпот одобрения всколыхнул цветочный ковёр, покрывавший озеро. Открывая золотому солнечному свету свои голубые сердца, лотосы радостно улыбались и возносили гимн ароматов Сурье — своему Солнцу и Господину. Радовалась вся природа, кроме Девараты, который был уже лишь горсткой пепла.

Тогда Висвамित्रа, великий Риши, хотя он и был уже отцом ста сыновей, принял Сунасефу как своего старшего сына и на всякий случай проклял любого, кто откажется признать младшего сына Риши его старшим сыном и законным наследником трона Амбариши.

Согласно этому повелению Сунасефа в своей следующей инкарнации родился в царской семье Айодхьи и правил Солнечным народом 84 000 лет.

Что касается Рохиты-Девараты, или богом данного, коим он был, — его постигла та участь, которую предсказала Лакшми-Падма. Он родился на свет в семье иностранца без касты (млеччха-явана) и стал прародителем грубых рыжеволосых народов, обитающих на Западе.

Именно ради преображения этих народов и был создан «Голубой Лотос».

Если кто-либо из наших читателей позволит себе усомниться в исторической достоверности этого происшествия с нашим предком Рохитой и в превращении белого лотоса в голубой, предлагаем ему совершить поездку в Аджмир. И там ему нужно будет только пройти к берегам трижды благословенного озера, названного Пушкара, где каждый паломник, который купается в полнолуние месяца крхтика (октябрь-ноябрь), достигает высшей святости без дополнительных усилий. Там скептики увидят своими собственными глазами, где был сооружен жертвенный костёр Рохиты, а также воды, которые посетила Лакшми во время 'оно.

Они даже увидели бы голубые лотосы, если бы большинство из них не превратилось благодаря новой трансформации согласно повелению богов в священных крокодилов, тревожить которых не имеет права никто. Именно эта трансформация даёт счастливую возможность девятерым из десяти паломников, погрузившихся в воды озера, вступить в нирвану почти немедленно, а также приводит к тому, что священные крокодилы являются самыми грузными среди своих сородичей.



---

**notes**





См. рассказ о Сунасефе: «Бхагавата пурана», IX, хvi, 35; «Рамаяна», кн. I, гл. 60; «Законы Ману», X, 105; «Бахурупа брахмана»; «Айтарея брахмана»; «Вишну пурана», кн. IV, гл. 7 и пр. Каждый источник даёт свою собственную версию.

Частица «а» в санскритском слове ясно показывает это. Помещённая перед именем существительным, эта частица всегда означает отрицание или противоположность значения последующего выражения. Так, слово «сура» (бог), записанное «а-сура», становится не-богом, или дьяволом; видья — знание, а а-видья — невежество, или противоположность знанию, и т. д., и т. п.

И только значительно позже в ортодоксальном Пантеоне и символическом многобожии браминов Варуна стал Посейдоном или Нептуном — коим теперь и является. В Ведах он самый древний из богов, идентичен Урану греков, это, так сказать, персонификация небесного пространства и бесчисленных богов, создатель и правитель Неба и Земли, Царь, Отец и Учитель мира, богов и людей. Уран Гесиода и греческий Зевс — одно и то же.

Шрадда — церемония, совершаемая ближайшими родственниками усопшего в течение девяти дней после смерти. Когда-то это была магическая церемония. Однако теперь, подобно другим обычаям, она состоит из разбрасывания шариков варёного риса перед дверью дома умершего человека. Если вороны съедят рис, это означает, что душа освобождена и отдыхает. Если эти птицы, такие жадные, не тронули пищи, это является доказательством, что пишача, или бхут (тень), присутствует и мешает им. Без сомнения, Шрадда является предрассудком, но, конечно же, не б'ольшим, чем поминки или большое скопление народа для мёртвого.

Грачи и вороны.

Это озеро в наше время иногда называют Поккр. Это место, известное ежегодным паломничеством, прелестно расположено в пяти английских милях от Аджмира в Раджастане. Пушкара означает «голубой лотос», потому что поверхность озера, как ковром, покрыта этими красивыми растениями. Но легенда утверждает, что вначале они были белыми. Пушкара — также имя собственное человека и название одного из «семи священных островов» в географии индусов, именуемых Сапта Двипа.

Другие называют его Ришика и называют царём Амбаришей Харишандру, знаменитого повелителя, бывшего образцом всех добродетелей.

Лакх обозначает число 100 000, идёт ли речь о людях или монетах.



Ману (Кн. X, 105), ссылаясь на эту легенду, замечает, что Аджигарта, святой Риши, не совершил греха, продав жизнь своего сына, поскольку эта жертва сохраняла жизнь ему и всей его семье. Это напоминает нам другую легенду, более современную, которая, очевидно, может служить аналогией легенде более древней. Разве граф Уголино, приговорённый к голодной смерти в своей темнице, не ел собственных детей, «дабы сохранить для них отца»? Общеизвестная легенда о Сунасефе более красива, чем комментарий Ману, — очевидно, это интерполяция каких-то браминов в фальсифицированных манускриптах.

Варуни, богиня тепла (позднее богиня вина), также родилась из Молочного Океана. Из «четырнадцати сокровищ», образовавшихся при пахтании, она появилась второй, а Лакшми — последней, вслед за чашей Амриты — нектара, дарующего бессмертие.

Игра слов. Слово «рохит» на санскрите означает самку оленя — лань, а Рохита означает «красный». Из-за своей трусости и боязни смерти, согласно легенде, он был обращён богами в лань.